

Univerzita Karlova v Praze

Filozofická fakulta

Ústav slavistických a východoevropských studií

ILJA LEMEŠKIN

Kategorie *вѣжество/viežlyvumas* v ruské a litevské kulturní tradici.

Na základě eposů (byliny; K. Donelaitis) a starého písemnictví

slovanská filologie

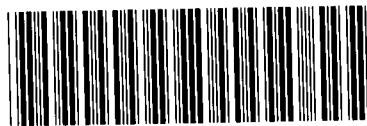
vedoucí práce – Prof. PhDr. Jiří Marvan, PhD.

konzultant – prof. dr. habil. Jurijus Novikovas

2005

RD 180

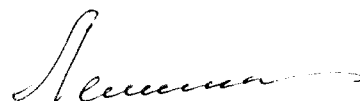
3-31/2008



2551135834

Filozofická fakulta
Univerzity Karlovy v Praze

„Prohlašuji, že jsem disertační práci vykonal samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury“

A handwritten signature in cursive script, appearing to be the name 'Necun' followed by a long horizontal flourish.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5-9
 ЧАСТЬ I. КАТЕГОРИЯ <i>ВѢЖЕСТВО</i>	
В РУССКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ	10-79
 Глава 1. Современная <i>вежливость</i> . Рус. <i>вежливый</i> , болг. <i>вежлив</i> – вопрос древнеболгарской лексической первоосновы.....	
	10-12
 Глава 2. Лексико-семантические изменения, определившие современное значение лексемы.....	
	13-22
 Глава 3. <i>Невежественный, невежда/невежа</i> . Сема «образованность, ученость».....	
	23-32
 Глава 4. Реликты древности в изображении вежества.....	
	32-51
 Глава 5. <i>Вежливый Добрыня и вещей Волх</i> . К истории эпического образа колдуна- <i>вежливец</i>	
	52-56
 Глава 6. <i>Вежество</i> как жанровая и сюжетообразующая категория былин.....	
	56-75
Выводы	75-79
 ЧАСТЬ II. КАТЕГОРИЯ <i>VIEŽLYVUMAS</i>	
(< ДР.-РУС. <i>вѣжество</i>) В ЛИТОВСКОЙ	
КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ	80-132
 Глава 1. Время заимствования.....	
	81-85
 Глава 2. Словообразовательные реализации заимствования в литовском языке.....	
	85-90

Глава 3. Семантика заимствования.....	90-96
Глава 4. Категория <i>viežlyvumas</i> в литовском фольклоре и древних памятниках письменности.....	96-103
Глава 5. Категория <i>viežlyvumas</i> и языковой пуризм.....	103-110
Глава 6. <i>Viežlyvumas – mandagumas</i>	110-112.
Глава 7. <i>Viežlyvumas</i> у Кристионаса Донелайтиса.....	112-123
Глава 8. Категория <i>viežlybumas</i> и нравственный императив И. Канта. К постановке проблемы.....	123-129
Выводы	129-132
 ЧАСТЬ III. РУССКИЕ БЫЛИНЫ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЭПОС К. ДОНЕЛАЙТИСА	
Глава 1. Общность поэтики: герой, метрика, гиперболизм.....	133-138
Глава 2. «Времена года» – проблема жанра. Литературный эпос и старина «Птицы».....	139-152
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	153-155
ПРИЛОЖЕНИЯ	156-158
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	159-160
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА	161-169
Рукописные источники	161
Печатные источники	161-164
Исследования	164-169

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ *ВЕЖЕСТВО/VIEŽLYVUMAS* В РУССКОМ ФОЛЬКЛОРЕ (БЫЛИНАХ) И ДРЕВНЕЙ ЛИТОВСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

ВВЕДЕНИЕ

В заглавие работы вынесены два, на первый взгляд не связанных друг с другом объекта научных исследований: русские былевые песни – тексты древней литовской литературы и письменности.

К разработке заявленной темы нас подтолкнуло чтение (под руководством Албинаса Йовайшаса) выдающегося памятника древней балтийской словесности – поэмы Кристионаса Донелайтиса «Времена года» (Kristijonas Donelaitis «Metai»). Русские былины и сочинение К. Донелайтиса по своей жанровой природе – произведения эпические, что само по себе дает определенный простор для их отвлеченно-эстетического сравнения. Помимо общих универсальных мотивов и качеств, роднящих народный и литературный эпос, при ближайшем ознакомлении и там и здесь со всей отчетливостью проступило кардинальное единство поэтики – категория *ВЕЖЕСТВО/viežlyvumas*.

Красной нитью проходя сквозь былины и творчество Донелайтиса, рассматриваемая лексико-семантическая категория тождественно реализуется как в плане выражения, так и в плане содержания. На базе литовского языка она оформлена в виде лексического заимствования из др.-рус. Если на Руси вследствие непрерывных семантических метаморфоз значение субст. *вежество* и прил. *вежливый* постоянно и существенно менялось, то в языке вторичного бытования смысловые преобразования практически сошли на нет. Заимствованная в древности лексема, если так можно выразиться, остановилась в своем развитии. Этим обусловлена *актуальность* и необходимость привлечения языковых данных из древней литовской литературы и письменности.

Ближайшее генетико-типологическое соответствие лит. *viežlyvumas* (< др.-рус. *вѣжлива*) находим в русском фольклоре. Будучи архаичным, «неизменным» жанром устной народной словесности, многие былины опираются на ту же самую лексико-семантическую категорию. Др.-рус. *вежество*, сохранившееся и дошедшее до нас благодаря старинам¹, в традиционно-изустном бытовании не знает позднейших смысловых инноваций, свойственных русскому языку, поэтому для современного носителя языка является уже незнакомой реалией и нуждается в объяснении.

Предлагаемое исследование, носящее сопоставительный характер, призвано достичь двустороннего результата. Нашей основной целью будет – *посредством данных др.-рус. языка и северорусских диалектов объяснить исконное значение и значимость для литовской культуры выше оговоренного славизма, с другой стороны, пополнить скудные представления о др.-рус. категории вѣжество аутентичными и до сих пор не учтенными свидетельствами литовского языка.*

Сформулированная цель предполагает решение следующих задач:

1. На основе имеющихся сведений, прибегая к методу внутренней реконструкции, рассмотреть предысторию и историю др.-рус. категории *вѣжество*. Для этого по отношению к производящей др.-рус. лексеме *вѣжь* проанализировать отдельновзятые компоненты деривационного гнезда.

2. Проиллюстрировать экскурс в область этимологии конкретными примерами лексико-семантической реализации: в др.-рус. памятниках письменности, фольклоре, русской литературе XVIII в.

¹ *Старины* – народное определение былин, включающее, кроме собственно героических песен, баллады, некоторые духовные стихи и исторические песни [Григорьев 1904, с. XIII-XIV].

3. Раскрыть историю принятой лексемы на новой почве, т.е. в литовском языке: деривационный потенциал, семантические возможности, особенности бытования, время заимствования, конкретные реализации славизма в литовской устной и письменной традициях.

4. Показать место и специфические особенности славизма в контексте остальных лексических заимствований; обратить особое внимание на значимость и живучесть заимствования в литовской культуре (категория *viežlyvumas* и литовский языковой пуризм).

В основу диссертационной работы положен принцип междисциплинарности, т.е. используются данные и исследовательские приемы различных дисциплин. Особый акцент ставится на лингвистике и фольклористике.

На рубеже между лингвистикой и фольклористикой ныне успешно развиваются два научных направления: этнолингвистика и лингвофольклористика. Первая претендует на изучение того, как народный менталитет отражается в языковых стереотипах. Предметом этнолингвистики является «содержательный план культуры, ее семантический (символический) язык, ее категории и механизмы. Ее цель – семантическая реконструкция традиционной (архаической, дохристианской, мифопоэтической в своей основе) картины мира, мировоззрения, системы ценностей» [Толстая 2000].

Менее известная лингвофольклористика (термин введен курским ученым Л.Т. Хроленко) ставит перед собой более скромные, но зато вполне достижимые задачи – непосредственным объектом ее исследования является фольклорный текст (общий объект с фольклористикой). Важнейшей лингвистической задачей является описание и изучение языка

фольклора², что в значительной мере способствуют адекватному решению собственно фольклористических вопросов и проблем.

Без привлечения современной лингвистики результаты научного поиска (применительно к изучению многих жанров фольклора) не могут быть убедительными и неоспоримыми. Это особенно заметно на примере фольклористических студий, рассматривающих вежливого героя. Центральный персонаж русских былин – Добрыня Никитич – неизменно характеризуется эпитетом *вежливый*. Певцами особенно подчеркивается, что *вежество* Добрыни «не ученое, а роженое». Загадочное место практически сразу привлекло исследовательское внимание, однако предложенные способы интерпретации (внелингвистические) оказались насколько разнообразными, настолько же и несостоятельными. Одни называли его «добрым», сами хорошо не понимая, что это значит (А. Аксаков), другие видели в нем «начатки русской цивилизации» (Ф.И. Буслаев), третьи отождествляли вежливого героя с Кришной (В.В. Стасов) и т.п. Никому не пришел в голову самый естественный способ – отбросить постоянное осовременивание эпического материала, вывести героя из современной аксиологической системы *вежливости* и поместить в древнерусскую парадигму *вежества*. В результате до сих пор не удалось избавиться от пережитков интерпретационного самоволия, когда по созвучию слов отождествляется былинное *вежество* и совр. рус. *вежливость*. Под пером некоторых исследователей Добрыня вдруг превращается в элегантного, галантного франта.

Итак, о вещах, подвластных силе традиции и отдаленных от нас на многие столетия, необходимо говорить со знанием языка той эпохи, к которой они принадлежат. Иными словами, необходимо соблюдать «антикваристский» подход, сущность которого заключается в том, что любой источник рассматривается в контексте своей эпохи, а не в контексте

² Исследование языка фольклора имеет давние традиции: достаточно указать на такие имена, как А.А. Потебня и А.Н. Веселовский. В настоящее время в области лингвофольклористики плодотворно работают группы ученых из Курска и Петрозаводска. Предпосылки для развития данного направления в Чехии видим в работах А.Д. Григорьева, Р. Якобсона, С. Матхаузеровой, Х. Келна и др.

эпохи исследователя: ««Презентизм» и «антикваризм» – это специфические термины, в которых научное сообщество историков культуры зафиксировало две основные целевые установки, или интенции, историко-культурологического исследования: стремление рассказать о прошлом языком современности (презентизм) и желание восстановить картины прошлого во всей их внутренней целостности, без всяких отсылок к современности» [Кузнецова 1995, с. 351].

ЧАСТЬ I. КАТЕГОРИЯ ВЕЖЕСТВО В РУССКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ

Глава 1. Современная вежливость. Рус. *вежливый*, болг. *вежлив* – вопрос древнеболгарской лексической первоосновы

Совр. рус. *вежливый* значит – «учтивый, соблюдающий приличие (в словах и поступках), проявляющий воспитанность» (ССРЛЯ). Люди ведут себя *вежливо* «учтиво, любезно», соблюдают – иногда специально, иногда неосознанно – определенные, принятые в коллективе правила. Эти правила мы теперь называем правилами хорошего поведения. Нехотя, *из одной только вежливости* что-либо предпринимают, делают, поэтому людская вежливость бывает не только изысканной и утонченной, но и показной.

Известный набор речезыкетных формул и невербальные компоненты вежливого поведения обязательно предполагают интеракцию, «ситуацию встречи». К характеристическим особенностям «функционально-семантического поля вежливости» (Н.С. Гребенщикова) относится строгая дистрибуция, ролевое размежевание собеседников – это «такое речевое поведение адресанта, которое отводит адресату роль не ниже той, которая ему отводится в социуме» [Формановская 1989, с. 49], или «на которую он претендует» [Формановская 1998, с. 61].

Представления о вежливости разнятся в зависимости от места и времени. То, что считалось вежливым в одну эпоху для одних, не обязательно распространяется на других. Случается, что конкретная реализация вежливости приобретает форму личностной аномалии. У Гончарова встречаем, например, героя, который «был вежлив до утонченности, никогда не курил при дамах, не клал одну ногу на другую и строго порицал молодых людей, которые позволяют себе в обществе опрокидываться в кресле и поднимать коленку и сапоги наравне с носом» («Обломов», ч. II, гл. 8). Если присмотримся к славянским языкам, то

обнаружим, что и здесь нет единогласия. Рус. *вежливый* соответствуют серб. и хорв. *prístōjan, уљудан*, чеш. *zdvořilý*, польск. *grzeszczny, uprzejmy*, укр. *ввічливий, ч́мний*, бел. *в́тлівы*.

Единственное соответствие находим в болгарском, где наряду с прилагательным *вежлив* в словарях с пометкой «из русского» значится существительное *вежливост*. Его появление, конечно же, позднее явление, так или иначе соотносимое с порой национального возрождения 30-ых гг. XIX века. Как заимствование из русского, в ретроспективе – из старославянского и древнеболгарского, прилагательное *вежлив* приводится в словаре Н. Герова (1895).

Насколько известно, в болгарской лексикологии четко просматривается стремление многочисленные русизмы генетически возводить к «славяно-русской разновидности» церковнославянского (XI-XIII вв.) и далее – древнеболгарской лексической первооснове. П. Филкова в словаре «Староболгаризмы и церковнославянизмы в лексике русского литературного языка» выделяет словообразовательное гнездо, мотивированное производящей основой *věd-*. К разряду южнославянской по происхождению лексики П. Филкова относит: *невежда, невеждный, (не)веждество, (не)веждественно, невеждествовати, веждь* и даже такие фонетически восточнославянизмы (с *ž'* на месте **dj*), как *(не)вежественный, (не)вежество, невежствовать, вежь, невежески* и т.д. [Филкова 1986-1987]

Некоторые из перечисленных примеров насыщены такими словообразовательными средствами, которые, получив распространение в литературных славянских языках, сразу же стали индикаторами культурно-книжных образований, и поэтому отнесение их к разряду церковнославянизмов может показаться обоснованным. Например, именная основа *вежд-* в многоаффиксном существительном *веждествовати* распространяется за счет суффикса *-ьств-* (название отвлеченного понятия). Отыменную глагольную основу в свою очередь

продолжает продуктивный старославянский (книжно-литературный) суффикс *-ова-//-ую-* (< **-ои-а-/*-ои-ј-*).

В других случаях – *невежески, невежствовати, невежество, вежь* – следовало бы удержаться от возведения слова к древнеболгарскому. Такое соотнесение зиждется на более активном употреблении отдельных аффиксов в древнеболгарском, что вовсе не означает их отсутствия в других славянских диалектах. Прилагательное *вежливый* образовано при помощи о.-слав. суффикса *-ьлив-* (совр. *-лив-*). В церковнославянском находим немало слов образованных с помощью данного аффикса: *безоумливъ, обидьливъ, послушьливъ* и т.д. Можно вспомнить соответствующую группу чешских слов с тем же формантом, обозначающим лицо, склонное к какому-либо действию или обладающее каким-нибудь качеством, свойством: *bedlivý, ošklivý, pečlivý, škodlivý, stydlivý, svárlivý, žarlivý, strašlivý* и т.д. [Retrográdný morfeomatický slovník češtiny 1975, с. 491-492]. Никому не придет однако в голову объявить их староболгаризмами.

Таким образом, ни на минуту не сомневаясь в разносторонних и тесных болгаро-русских языковых контактах, мы не можем согласиться с необоснованной южнославянской локализацией корневой основы *веж-*. Продуктивности церковнославянского словообразовательного типа, одинаковой корневой основы, равно как и похожего значения не достаточно для того, чтобы признать правомерной кодификацию П. Филковой. Прилагательное *вежливый* – восточнославянский фонетико-деривационный продукт (о семантической взаимообусловленности со ст.-слав. образцом см. ниже). Первый компонент генетически двуаффиксного форманта (*-ьл-ив-*) привел к палатализации общеславянской корневой темы: о.-с. **věd-* > др.-рус. *věž'-*. В ряду одинаково производных: *(не)вежественный, (не)вежество, невежствовати, вежь, (не)вежески* и др.

Глава 2. Лексико-семантические изменения, определившие современное значение лексемы

Сема «обходительность, учтивость», будучи самой «молодой», за рассматриваемой лексемой закрепились в достаточно поздний период. По наблюдениям П.Я. Черных, в данном значении слово употребляется с XVI в., не раньше [Черных 1994, I, с. 138]. В словарях новое значение отмечается с 1704 г., где *вежливый* – «humanus, urbanus» [Поликарпов, 67].

Процесс сравнительно недавнего лексико-семантического переустройства, точнее, его последствия хорошо прослеживаются на примере одного фольклорно-литературного текста рубежа XVIII-XIX вв. Поскольку интересующее нас произведение, посвященное *вежеству*, принадлежит перу Н.А. Львова и построено на базе осмысленной конфронтации языка русских былин (др.-рус. состояние) и современного автору языкового узуса (XVIII в.), целесообразно начать с общей характеристики Н.А. Львова и эпических аллюзий в литературе XVIII в.

Героико-эпические песни в «новую» литературу проникли во второй половине XVIII в. (В.А. Левшин, 1780-1784; Н.М. Карамзин, 1795). Картины быта, мотивы народной словесности или же, по определению Г.Р. Державина, «чудесные происхождения» придавали художественному целому желанную живописность и увлекательность. Для достижения национального колорита и нарративной занимательности из былин заимствовались отдельные герои, их подвиги, краски для изображения военных сцен, фантастика.

Принято думать, что использование эпического материала не превзошло уровня «былинной номенклатуры» (А.П. Скафтымов): «Одни из этих произведений (Карамзина, Львова) связаны с былинами лишь именами героев, в других (Державина, Левшина) в несколько большей мере использованы былинные ситуации и в стиле... Однако связь с народным эпосом остается часто внешней. Былинный материал разукрашивается в духе популярных волшебных-рыцарских романов и

повестей, заимствованные из эпоса эпизоды перемежаются с вымышленными во вкусе этой литературы положениями, русские богатыри превращаются в галантных рыцарей» [Астахова, Митрофанова 1960, с. 7-75]. Мнение А.М. Астаховой и В.В. Митрофановой, справедливое для характеристики эпохи, нуждается в определенном уточнении. Вымышленные положения, галантность богатырей, волшебнорыцарская доминанта и, как следствие, внешняя связь с народным эпосом – все это справедливо распространяется на эпоху, но не на всех ее представителей.

На общем фоне механического использования былинных мотивов и образов выделяется представитель малообразованной писательской среды – НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛЬВОВ (1751-1803). Будучи до восемнадцати лет захолустным дворянским недорослем, поэт лучше многих своих современников знал крестьянскую, деревенскую Русь. Внося «русский строй», национальный колорит в сочинения друзей (главным образом Г.Р. Державина), сам поэт был неподражаем. Рецепции народности в его случае не происходило: писатель говорит о низовой среде своим «голосом» и в своем жанре [Лемешкин 2003, с. 29-38].

«Богатырская песня» «Добрыня» (1794, изд. в 1804) в ряду иных литературных обработок эпоса – наиболее выверенная с филологической точки зрения. Автора интересует не столько национальные краски и занимательные мелочи, сколько архитектоника и поэтика-материя, ставшая строительным материалом для старин³. В отличие от современников поэт

³ Интерес к былинам не ограничивался «богатырской песней». Поблизости Черенчиц-Никольского, родового поместья под Торжком, разбросаны эпические топонимы, напр., г. *Торопец*, *Добрыни*. Трудно что-либо определенное сказать по поводу их происхождения. Эпические названия могли быть «насажены» сверху, т.е. появиться по распоряжению барина, увлеченного былинами. Могли быть и исконными. Ясно одно – наличие таких топонимов стимулировало интерес к народному эпосу или же явилось прямым последствием такого интереса. Есть основания полагать, что увлеченность фольклором у Львовых передавалась из поколения в поколения. В 1791 г. в «Московском журнале» (ч. IV) Н.А. Львов печатает песню «Уж как пал туман на сине море», которую возводит к творчеству своего предка, Петра Семеновича Львова (в действительности это запись народной баллады). В посмертной «Памяти другу» Г.Р. Державин, оценивая литературные заслуги Н.А. Львова, отметил его приверженность др.-рус. поэзии: «Встань, дух поэзии русской древней, / С кем, вторя, он Добрыню пел, / Меж завтренею и меж обедней...» (Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. Т. II. Часть II. – СПб.: Типография Императорской Академии Наук, 1865. С. 461-462). Пристальное изучение самого «материала», былинной поэтики, вполне возможно, подкреплялось профессиональной деятельностью

не ограничивается эпической обрядностью, идет не поверху, а вглубь. Руководствуясь наследием старины, Н.А. Львов себя самого отождествляет с *вежливым* богатырем – Добрыней (нас будет интересовать, как одаренный представитель XVIII в. воспринимал вежливость).

Сразу отметим, что Н.А. Львов блестяще справляется со стилистикой избранного фольклорного жанра. «Новотóр», т.е. новый певец родом из Торжка, к месту использует постоянные эпитеты («калена стрела», «поле чистое», «очи ясные», «добрый молодец» и т.д.), вплетает в богатырскую песню эпические повторы («Песню длинную, да нескучную, / Да не скучную, богатырскую»; «Ты явися ко мне с побрякушками, / С приговорками, с прибасенками»), известную былинную ретардацию, построенную на принципе отрицания: «Не туман густой развивается, / Не с небес сошло черно облако - / От земли восстал, как столетний дуб, / Станом сильный муж, взором Светов сын». Встречаются в тексте и т.н. общие эпические места, сопровождающие, например, знакомство богатырей («Если старый муж, ты мне дедушка, / Или дядюшка, если средних лет; / Если ж ровня мне, то будь брат родной!») или изображение боя («Он где раз махнет – то там улица; / Где повернется – площадь целая»). Разностороннее и выверенное использование старинного материала (Кирша Данилов еще не был известен) свидетельствует о том, что поэт черпал его непосредственно из живой устной традиции, а не из отрывочных и малодоступных в его время рукописных текстов XVII-XVIII вв.

Замысел этой песни, к сожалению, не был осуществлен поэтом до конца. До нас дошла лишь первая глава, долженствовавшая в представлении автора стать зачином всей поэмы: «...должен быть описан брак великого князя Владимира I и при оном потехи русских витязей, а преимущественно витязя Добрыни Никитича. Вступление оканчивается тем, что пиит, будто приближаясь к Киеву, находит там торжество. Во

второй песне долженствовала начаться сама эпопея» [Поэты... II, 1958, с. 512]. Предисловие к первому изданию указывает на подготовительный характер произведения. Основой для дальнейшего воспевания должен был стать сюжет старины «Дунай Иванович – сват» или «Добрыня и Василий Казимирович». Конкретных былинных ситуаций здесь еще нет, внимание целиком сосредотачивается на русской специфике эпоса в двух аспектах: стихотворный размер и вежливая характерология. Собственно художественное изложение уступает место проблемам типизации и стиха.

На вопрос, какие метрические основания использовать для русского литературного эпоса, Н.А. Львов, опираясь на «богатырские песни», отвечает вполне определенно:

Знать, низка для вас богатырска речь
И невместно вам слово русское?
На хореях вы подмостилися,
Без экзаметра, как босой ногой,
Вам своей стопой больно выступить.
Нет, приятели! В языке нашем
Много нужных слов поместить нельзя
В иноземные рамки тесные⁴.

Отдав должное «сыну усилия», так Н.А. Львов именует М.В. Ломоносова, писатель заявляет о приверженности своему, былинному стиху⁵:

Нет, помилуйте, лучше попросту
Изношу я так свой комольй лоб
Под защиту гривы русыя,
Чем господь его осенил сполна.

Петербург, т.н. Львовские ворота Петропавловской крепости и т.д.)

⁴ Здесь и далее цитация «богатырской песни» по: Поэты XVIII в. Т.2. – Л.: «Советский писатель». С. 332-344.

⁵ Парадоксальным кажется то, что о необходимости «старорусским петь мерным голосом» Н.А. Львов заявляет еще до открытия и издания Кириши Данилова, т.е. до того, как былинный стих стал известен широкой общественности. Это может говорить о доступности фольклора писателям рубежа XVIII-XIX вв., их устно-поэтической образованности. Знакомство с эпосом для некоторых из них не ограничивалось уральским сборником. На качественно новом витке развития, в литературе XX века, идеи Н.А. Львова продолжил К. Брюсов (сб. «Жар-птица»).

В поисках эпического героя автор обращается за советом к скоморохам: «Скоморохи различных мер! / Научите, кому мне петь / И кому поклоняться». «Дайте русского мне витязя! – заявляет писатель и объясняет. – Я Бову-королевича не хочу петь; не русский он». «Переселенец» не может стать главным действующим лицом; былинным стихом, эпическим стилем можно и должно воспевать только святорусского богатыря: «Нет! такого мне дайте витязя, / Как в чудесный век Володимира...»

Почему Н.А. Львов обращается к скоморохам? Может быть, потому, что в русском фольклоре имеются любопытные примеры, когда «веселые люди» называются *вежливыми*. В былине-скоморошине «Терентий муж» изображается молодая жена, которая, притворившись тяжело больной, посылает Терентия за «дохтурами». Терентий встречает по дороге скоморохов, которые берутся излечить ее недуг. Для этого они сажают мужа в мешок и являются на двор к Терентию. На вопрос, не видали ли они супруга, вежливые скоморохи дают ложную информацию – объявляют Терентия мертвым. Узнав хорошую новость, «злая жена» с облегчением обращается к «веселым людям»:

«Уж вы ой еси, ско[мо]рохи, люди вежливыя,
 Да скоморохи, люди отецливыя!
 Спойте мне песню про стара мужа Терентьища:
 «Слава Богу, что убили-то Терентьища!»
 Играйте вы в гусельки,
 Играйте вы в звончаты;
 Стара мужа Терентища проклиняйте!»
 Как запели ско[мо]рохи, люди вежливыя,
 Да скоморохи, люди оцесливыя,
 Про стара мужа про Терентьища:
 «Жив ли ты, мешок?
 Глух ли ты, мешок?
 Глуп ли ты, мешок?» ...

(Григ. № 41)

Так молодая жена сама себе выписывает рецепт к «оздоровлению».

Вежливость скоморохов никак не связана с образованием, наукой, еще менее – с галантностью, обходительностью. По примеру своих реально-исторических прототипов эпические скоморохи не блещут ученым умом, книжным знанием, в житейском обиходе могут быть вульгарно-грубыми, острыми на язык, но при всем при этом в непростых ситуациях выбирают оптимально правильное, выверенное решение. Они знают, когда на какой лад поступать, как «излечить» злую жену. Вежливый герой – это подтверждается и другими текстами, где раскрываются вежливые поступки (напр., «Сорок калик со каликою», «Бунт Ильи Муромца») – избегает лобовых столкновений. Прямое обвинение в измене чревато гневом Терentyища. Вежливый герой создает такую ситуацию, при которой участники конфликта, казалось бы, сами расставляют все точки над «и». Заведомая ложь и др., в нашем понимании, невежливые формы поведения – не помеха. Именно в этом заключается их вежливость, и поэтому именно от них автору легче навести мосты к веже-Добрыне⁶.

Итак, в небогатом спектре социальных ролей (былинных) избирается наиболее подходящая: на *вежливого* Добрыню указывают *вежливые* скоморохи.

К чести Н.А. Львова необходимо отметить, что ему удалось избежать смешения эпического *вежества* и совр. *вежливости*⁷. В этом он превзошел позднейших интерпретаторов образа Добрыни. Поэт пытается воскресить вежливый характер в том отдаленном, др.-рус. его понимании. Красиво или некрасиво герой себя ведет по отношению к другим, не суть важно. Позднейшие наслоения – галантность, обходительность,

⁶ Скоморохи восхваляются и в редкой старине «Путешествие Вавилы» (Григ. № 121). Здесь они, это будет особенно важно для нас в дальнейшем, изображаются носителями чудесных знаний. «Веселые люди не простые, не простые люди – скоморохи» являются в Вавиле и предлагают ему идти «скоморошить». Конечной целью пути является «собака Царь», которого необходимо «переиграть». В руках Вавилы неожиданно оказываются чудесные предметы, по ним герой узнает, с кем имеет честь: «Ишша были в руках у его да тут ведь вожди, – / Ишша стали шолковые струнки! / Ишше то цядо да тут Вавило / Видит: люди тут да не простые, / Не простые люди – светые». По наущению скоморохов хлебы ржаные превращаются в пшеничные, вареная «кура» взлетает, «стада» птиц наказывают тех, кто не верит в их успех... Скоморохи награждают красную девицу, вежливо их встретившую (распознавшую их) и пожелавшую им удачи. От игры на гудке предотвращается потоп, сгорает царство Собаки.

⁷ Субст. *вежливость* (как свойство вежливого) в словарной литературе фигурирует с XVIII в.

образованность – Н.А. Львовым автоматически отбрасываются как вторичные и чуждые жанровому канону.

Н.А. Львов строго различает современность и прошлое. Вежливый Добрыня, именуется в песне «русским твердым духом, сыном природных сил, братом веселости», «неразлучным другом прадедов». Было время, повествует Н.А. Львов устами Добрыни, когда герою-веже везде были открыты двери, «но теперь не то», дух вежества пропал в «высоких теремах»:

О! Почто прервал ты мой крепкий сон?
 Ты призвал меня первой к радости
 Старорусским петь мерным голосом;
 Да не время, нет – не пора теперь,
 Недосуг с тобой прохладатися.
 Было время мне... но теперь не то –
 Как носился я каленной стрелой
 С поля чистого во высок терем;
 Я был первый гость на пирах везде;
 Я дела решил, дружбу связывал;
 От меня нигде тесно не было,
 Хотя правду я говорил в глаза;
 А теперь кому, где я надобен?
 Из бесед меня карты выжили;
 Табаком кого клоб не выгонит?
 Уж семейных нет вечерин теперь,
 Хлебосольства дух роскошь вывела,
 Из честных домов по шинкам стоят;
 Без билета иль без рубля нигде
 Не услышишь ты: *просим милости!*
 Нет хозяина для незванного.

В социальном быту, там, где вежа правду говорил в глаза и при этом оставался первым гостем, где дружбу связывал и дела решал, находил себе подобие в одежде, делах и поступках, сейчас – роскошь, карты, клубы дыма и корысть. По мнению автора, исконная черта русского народа, оставив «терема», сохранилась только у простого люда: «Поклонился я приворотникам, / Поселился жить в чистом воздухе / Посреди поля с

православными». Когда же вежу-Добрыню по ошибке все же окликают «приворотники» из «теремов», высших социальных кругов, здесь он уже никого не узнает:

Позовут меня – я откликнуся,
Оглянуся, но – не знаком никто
Ни одеждою, ни поступками.

Тут же автор прибегает к своеобразному филологическому разбору, сталкивая друг с другом современную *вежливость* и эпическое *вежество* Добрыни, унаследованное крестьянством. Имеем в виду примечание автора под укорительной репликой Добрыни:

«Да ты сам, скажи мне, что за зверь,
Разнополый прынтик с мельницы.
На мороз колени выставил;
Так, как лыс бес, перед завтраней,
Что ты эдак жмешься, шаркаешь,
В три погибели ломаешься?
Я таких только на ярмонках
Обезьян видал на сворочке,
Как для смеха за три денежки
Нехристь плеткой их плясать учил».

«Право, русский!» – я сказать хотел...

Сноска гласит: *Je revénaïs de Paris, j'étais en frac et poudré au blanc, le rustre n'avait aucune idée de tout cela, et prenait ces atours et mes politesses pour des contorsions d'un singe du boulevard* «Я вернулся из Парижа, я был во фраке и с напудренной головой; деревенщина ничего в этом не понимала и принимала этот наряд и мою *вежливость* (курсив мой – И.Л) за кривлянье уличной обезьяны».

Сопоставление с обезьяной (внутри текста и сноске) не случайно. Сомнительно, что ярмарочное вождение приматов составляло прозу жизни. Медведи да, но обезьяна?.. По всей вероятности, автор прибегает к

книжной фразеологии XVIII в., а именно к широко употребительному выражению *быть пификом чего-либо*. Дословно идиома значила: «являться обезьяной», т.е. слабым намеком, подражанием, тенью какой-либо «вещи». В глазах вежливого Добрыни современная вежливость не что иное, как обезьянничанье, кривляние, гримаса, пародия на подлинное, эпическое вежество. Во всем произведении нет ни слова об образованности, моде или галантности как атрибутах героя-вежи, наоборот, данные качества противостоят ей, являясь позднейшим искажением др.-рус. вежливого образа.

Н.А. Львова привлекает древняя черта – способность «правых душ» «одною правдою прямое сделать дело». В завершении богатырской песни Н.А. Львов изъявляет желание идти вслед вежливому Добрыне, национальным «гудком», т.е. былинным стихом, петь вежливым:

Но не чудо ли, люди добрые,
 Что давно уже и по сю пору
 Русский дух в Руси не мерещился?
 <...>
 Я с гудком моим белый свет пройду.
 Кто нам трудный путь пересечь может?
 Нет ни спорника, ни поборника,
 Где гудок идет вслед за силою;
 Для упрямых ты, я для вежливых,
 Постоит ли что в поднебесности
 Перед силою, пред согласиём?»

Итак, др.-рус. категория *вежества* или, по выражению Н.А. Львова, *согласия* уже оказывалась в центре пристального внимания (*Приложение № 1* – гравюра, изображающая Добрыню-Львова. См.: Лемешкин 2003). Конструируя современный литературный эпос и его героя, Н.А. Львов целиком полагается на русские былины. Чтобы новая «богатырская песня» звучала, соответствовала старым, поэт углубляется в сферу значений, прослеживает отличия между языком былин и современным речевым обиходом, например:

Бью челом тебе, Киев! – Что еще?
Бить челом теперь обычья нет,
 Можно просто бы поклон отдать,
 Побережь столицу разума
 Для другого дела, лучшего.

Люди грамотны, люди умные!
 Я пою ведь вам песню старую,
 Я пою на строй тех времен простых,
 Когда были лбы сильно крепкие...

Предпринимаемые реконструкции оказались, конечно же, не во всем верны, и все же опыт литературной интерпретации двухсотлетней давности не потерял актуальности до сих пор.

Н.А. Львов, знаток богатырских песен, верно отметил, что в далеком прошлом *вежество* и Добрыня, будучи воплощением героя-вежи, были предметом специального воспевания (в былинах). В современную пору подлинное *вежество*, как и сами старины о вежах, сохранились в низах, у крестьянина-землепашца. В «теремах» господствует совсем иная мода – вежливый человек ассоциируется тут с «галантностью, учтивостью». Крестьянин, идущий по стопам Добрыни, и дворянин, кривляющийся во фраке с напудренной головой, в прямом смысле слова не находят общего языка, не понимают друг друга. Времена изменились, и Н.А. Львов констатирует произошедший лексико-семантический слом. Современные куртуазные представления о вежливом человеке, в восприятии автора, являются лишь тенью, «обезьянничанием» на др.-рус. свой источник. Опираясь на «вежливый чернозем», Н.А. Львов ставит задачу если не возродить эпическое вежество, то хотя бы показать его настоящий национальный характер и выстроить на исконном основании русский литературный эпос.

Глава 3. *Невежественный, невежда/невежа. Сема «образованность, ученость»*

Общепринятые представления об учтивости, обходительности, приветливости, любезных словах и поступках, ныне неразрывно закрепляемые за прил. *вежливый*, таким образом, являются поздними и наносными. В стремление очистить др.-рус. лексему от позднейших наслоений сосредоточимся на семе «образованность, ученость».

Принято считать, что первоначально, т.е. до влияния выше оговоренной идеи куртуазности-галантности, *вежливый* обозначало «знающий, опытный, сведущий». Лексикографы не вдаются в подробности, не утоняют, *какими* знаниями обладает и в *чем* должен быть опытен, сведущ носитель данной характеристики. Часто складывается мнение, будто др.-рус. *вежество* связано с книжной ученостью. Во многом этому способствует современный литературный язык. Под *невежей* мы сейчас понимаем: 1) «не знающий приличий, грубый, неучтивый человек» и 2) *Устар. и простореч.* То же, что и *невежда* «необразованный, несведущий человек, неуч» (ССРЛЯ). Соответственно, *невежество* – «отсутствие знаний, необразованность» и «невоспитанность, невежливый поступок».

На письменные источники, несмотря на их относительную многочисленность, безоговорочно полагаться все же нельзя. Данные др.-рус. литературы и письменности не отличаются надежностью. Не ясно, насколько книжный язык калькирует церковнославянский образец. В ст.-слав. *невѣжда, невѣждь* – «невежда-неуч; ἰδιώτης»; *невѣждьскине, невѣждьство* «невежество, незнание; ἄγνοια, ἄγνοσία». Лексема была особенно распространена в формулах самоуничижения, напр.: *Аз бо есмь ... неключимыи во иноуѣхъ и невѣжа слову* (Ж. Стеф. Перм.), *азъ убо есмь умомъ глупъ и словомъ невѣжа* (Пр. Уб. III), *невежда есмь и неуч...*

Существуют веские основания усомниться, было ли данное значение изначально свойственно др.-рус. лексеме. Аутентичные фольклорные тексты его не знают.

В 1973 г. из новгородской земли была извлечена грамота, содержащая загадочный набор графем:

н в ж п с н д м к з а [т] с [ц] т ...

е ъ а и а е ү а а а х о е и а ...

А.В. Арциховский прочитал текст по вертикали, столбец за столбцом: невѣжа писа недума каза а х[т]о се [ц]ита... (Приложение № 2) Грамота стратиграфически датирована 10-30 гг. XIV в., однако ее текст, будучи готовым фольклорным произведением (речь идет о школярской шутке), возник намного раньше [Зализняк 1995, с. 376].

В словарной литературе надежный берестяной памятник, содержащий лексему невѣжа, приводится для иллюстрации значения «безграмотный, необразованный». Никто не обратил внимания на одну неувязку – как возможно, что человек Древней Руси не только читающий, но и умеющий писать вдруг слышет неучем? Каким же требованиям должен отвечать настоящий грамотей, если употребления аориста (в XIV в.!) и своего рода тайнописи все еще недостаточно? Правомерно усомниться в проводимой лексикографической кодификации. Действительно ли *вежество* подразумевает здесь грамотность?

Еще более красноречивые аргументы содержатся в былинах. Добрыня Никитич, как уже было отмечено, – эпический герой-вежа. Раз уж вежливый Добрыня репрезентирует собою вежество, то в архаичном жанре мы вправе ожидать вырисовки таких качеств и свойств, которые были действительно закреплены за рассматриваемой лексико-семантической категорией. Иначе говоря, если др.-рус. вежеству была свойственна сема

«образованность, ученость», то та же особенность, по логике вещей, должна просматриваться и в традиционном образе героя-вежи.

Грамота знакома многим былинным персонажам. Оказавшись на росстани, эпический герой в состоянии прочитать надписи-предостережения, богатырей отправляют с поручением «переписать животы», т.е. оценить чье-либо имущество, «пересметить» вражескую силу «на бумажный лист», отвезти «дани-выходы»... В их руках поэтому часто оказываются береста, «ярлыки скорописчаты», бумага. В необходимой мере грамотой владеет и Добрыня, однако никак нельзя утверждать, что в плане образованности герой противопоставляется всем остальным или же своей непомерной ученостью от других отличается. Своими книжными знаниями Добрыня решительно никого не превосходит. Героико-эпическим песням вообще не известны, что называет, книжные мужи (иначе дело обстоит, напр., в смежном жанре – духовных стихах).

Наиболее отчетливо грамотность Добрыни проявляется в сюжете «Бой Добрыни с Дунаем». Герой-вежа наезжает в чистом поле на шатер. Хозяина поблизости нет, зато:

Тут лёжит ерлык да скорограмотный,
Написаны угрозы богатырския:
«Кто попьёт и поест и покушает –
И не уехать тому из чиста поля».

(СРФ № 135)

Добрыня принимает вызов, и, нарушая дерзкий запрет, поступает ровно наоборот. Ознакомление с грамотой, чтение грамоты совпадает с завязкой действия, выполняет сюжетобразующую функцию.

Изображая детство героя, певцы пользуются частый приемом – будущий герой растет не по дням, а по часам и не уживается со своими сверстниками. Если специально здесь и повествуется о грамотности, что случается редко, то обучение Добрыни, как правило, описывается в общих фразах: «А и будет Добрыня семи годов, / присадила ево матушка грамоте

учиться. / А грамота Никите в наук пошла – / посадила ево матушка пером писать» (КД № 48). Та же самая фразеология (*грамота в наук пошла*) по мере необходимости используется для характеристики детства и ученичества других персонажей (напр., Василия Буслаева, Константина Сауловича (сюжет «Саул Леванидович»), Волха Всеславьевича и др.; ср. у того же КД № 6).

В былине «Дюк Степанович и Чурила Пленкович» кн. Владимир посылает Добрыню описать Дюкову «золоту казну». Здесь и в некоторых других текстах Добрыня, вровень с другими былинными персонажами, предстает перед нами владеющим книжными навыками.

При решении вопроса о смысловом наполнении концепта вежества имеет значение еще одно обстоятельство. Вежество, по былинам, потенциально может быть двух разновидностей: *роженным* и *ученым*. Вежество Добрыни – это неоднократно и особо подчеркивается в песнях – «роженое»: «Не уцёна его вежь да спорожоная» (Григ. № 113). Корни эпического фразеологизма, т.е. почему его вежество врожденное, будут оговорены ниже. Пока же нас интересует то, что былинный язык, а именно устойчивое словосочетание *роженое вежество*, в принципе отторгает «ученую» лексико-семантическую реализацию. В противном случае нужно было бы взять на веру, что когда-то существовало воззрение, согласно которому книжная ученость могла передаваться наследственно, по крови.

Таким образом, былинный Добрыня Никитич, специализирующийся на вежестве, отнюдь не узурпирует книжную ученость. Его знания, дающие основания для качественной характеристики *вежливый-вежа*, залегают в иной плоскости. Герой-вежа может быть грамотен, образован, но, в представлении наших предков, не обязан быть таковым. Книжная наука, следовательно, не составляет прерогативу вежества.

Хотя бы вкратце необходимо рассмотреть, в каком ключе изображаются фольклорные *невежи*. Амплитуда употребления данного субстантива достаточно широка: от экспрессивно-оценочного определения

невежищо до имени собственного – *Невежа*. Во всем корпусе былинных текстов не удалось найти ни одного случая, где бы невежа был напрямую взаимообусловлен, взаимосвязан с безграмотностью, отсутствием книжной образованности.

Часто *невежей* именуется эпический враг: Идолище или Сокольник. Для иллюстрации того, что *невежа* не связано с книжностью, достаточно привести следующие отрывки:

Как Владимир князь по гридни похаживаё,
Еще сам государь князь выговаривает:
- Ах мы все на пиру да едим мы пьем,
А все на почестном стали навесели,
А й некого у нас нынь нету на заставушки.
А й во далечи далечи во чистом во поли,
Как *летает там невежа черным вороном,*
А *пише невежа за угрозою* ко мне:
«А й ты подай-ко, князь Владимир,

поединчика!»
(Гильф. № 215)

или

Как приходил Ильюшенка во Царь-от град,
Хватил он там татарина под пазуху,
Вытащил его он на чисто полё,
Как начал у татарина доспрашивать:
- Ты скажи, татарин, не утай себя,
Какой у вас невежа поганый был,
Поганый был поганое Идолище?

(Гильф. № 48)

По утру-де, утру было ранному,
На восходе было красном солнышком,
Выходил-то старой да вон на улицу,
Брал он трубоньку подзорную,
Здрел-смотрел да на все стороны,
Слушал ушми да богатырьскими:
Под той сторонешкой под западной
Едет невежа потешаищя,
Небылыми он словами похваляищя,
На поезде он стрелоцьку постреливат,
На полётике стрелоцьку подхватыват,
Впереди его бежит серой волк,
Позади его бежит большия пёс,
На правом плечи да блад ясен сокол,
На левом плечи – сизой орёл.
Небылыми он словами похваляищя:
«Я зайду-заеду в стольный Киев-град –
Соборны церьквы все – конюшнами,
Чудны образа во грезь стопцю,
Самого князя голову срублю,
Саму княгинушку с собой возьму!»

(СРФ № 75)

Текстологические разыскания выявляют особую кенозерско-мошинскую редакцию «Добрыни и Алеши». Принадлежащие к ней тексты разбросаны по разным местам Онего-Каргопольского края, но характеризуются значительной стабильностью: «первая по времени запись отделена от последней целым столетием, но в процессе длительного устного бытования сюжетная схема сохранилась почти неизменной, практически не испытала влияния других редакций» [Новиков 2000, с. 140-141]. Для кенозерско-мошинской редакции, помимо прочего, характерно

то, что Добрыня отправляется на битву со своим качественным антиподом – *Невежей*.⁸ Справиться с врагом может лишь вежливый герой – до Добрыни с *Невежей* безуспешно боролся Илья Муромец:

Да большой богатырь Илья Муромец:
 - Да вы братцы могучие богатыри!
 Да хоша долго сидить, а говорить будёт
 Да кому в поле ехать поединщиком?
 Да я ведь недавно из походу-де пришол,
 Да бился рубился с *невежей* богатырём.
 Да летает *невежа* черным вороном,
 Да я не мог его на очи обоздрити.
 Кабы увидел собаку, убил бы из туга лука.
 Службу-работу накиннули
 Да молодцу Добрынюшки Микитьевичу.
 (Гильф. № 222)

Кроме чужеземного противника (*Невежи*, *Сокольника*, *Идолища*), *невежей* может быть назван и свой богатырь⁹. Дюк Степанович заслуживает такую характеристику тем, что проезжает в Киев, не захав на богатырскую заставу:

Тут выходит наш донской казак Илья Муромец,
 Выходит со бела шатра
 И говорит да таково слово:
 - *Что ты за невежа, едешь мимо да не спрашивашь?*
 Мимо нашу заставу ни конной не проезживал,
 Ни пеший ни прохаживал, ни зверь не прорыскивал,
 А ведь птица полетит, да и та перо сронит.
 (Гильф. № 115)

В другом месте Дюк необычно ведет себя за столом: «от калачика верхнюю корочку откладывает, нижнюю корочку под стол кладет,

⁸ *Невежа* первоначально не имя собственное. Таковым его сделали собиратели и издатели. Не случайно, от *Невежа*, так же как и от *Идолища*, никогда не образуются отчества. Противник Добрыни – оборотень, а его действия «злонаправленные». Не исключено, что *невежей* назывался любой «чужой» и опасный для «своих».

⁹ «Своих» обзывают «невежей» обычно по незнанию, принимая их за чужих (Дюк едет мимо заставы, Добрыню не узнает мать и т.д.). Но не всегда. Своими дальнейшими поступками герой иногда доказывает свое вежество.

серединку откусывают» (СРФ № 146). Поведение героя имеет свое объяснение: «Верхняя корочка пригорелая у вас, нижняя корочка призадымлена». Невзирая на мотивировку поведения, к герою опять пристает нелестная характеристика *невежа*: «Что ты за невежа, за скотина такой, / Наш пир не во что кладешь, царя ничем считаешь, / Все нас, богатых да бояр, не тем зовешь!» (СРФ № 146). Бояре не могут поверить Дюку, считают богатырскую похвальбу несостоятельной (используется характерный былинный фразеологизм: *его похвальба наперед зашла*, т.е. хвалится небылыми вещами, преувеличивает, лжет). Позднее, когда подтверждается фантастическое «богачество» героя и правота Дюка, острая характеристика сама собой снимается.

Важную для нас группу текстов, где оценочное *невежа* пристает к своим, положительным персонажам, составляют тексты о самом Добрыне. В былине на сюжет «Добрыня и Алеша» герой возвращается в Киев в канун свадьбы своей жены. Перед тем как явиться на свадебное пиршество Добрыня наведывается домой. Мать не узнает в страннике сына:

«Отойди прочь, детина засельщина!
 Кабы было живо мое красное солнышко,
 Молодой тот Добрынюшка Микитинич,
 Не дошло бы те невежи насмехаться...»
 (Гильф. № 198)

Тут-то все да идут жалуются
 Приворотники и придверники,
 И все идут и жалуются:
 «Приехал какой-то да невежество
 И всех-то нас да отталкиват,
 И всех-то на<с> да <в> пору не знат!»
 Говорит-то да Добрынина матушка,
 Говорит-то ему да таково слово:
 «Ох, не приехал бы ты, невежество,
 Ох, да не отталкивал да всех моих работников,
 Кабы было у меня да дитятко,
 Дитятко да был Добрынюшка:
 Он бы дал бы тебе тут разгуливать!»

В «Бое Добрыни с Дунаем» Дунай называет *невежей* Добрыню за то, что последний, вторгшись в его владения, нарушает запреты (ломает имущество, пьет-съедает оставленную в шатре еду):

Наехал тут шатровый хозяин [Дунай – И.Л.].
 Разгоречилса на Добрыню Никитичя,
 Сонного убить всё равно как мёртвого,
 Закричал только ярым голосом:
 «Кака приехал тут за невежа ж?
 Сорвал мои замки весучия,
 Я срублю у тебя да буйну голову!»
 Будил-клíкал его до трёх разóв.
 (СРФ № 133)

Употребление субстантива в приведенных выше случаях в значительной мере определено сюжетом, т.е. такой сюжетной ситуацией, которая обуславливает и подталкивает к употреблению сущ. *невежа*. Враг вежливого Добрыни осмысливается как его антипод, Невежа; Добрыню обвиняют в невежестве, но затем герой своими поступками (так же как и Дюк) объясняет/показывает, что вел себя правильно, как подобает, т.е. вежливо. В текстах, изображающих данные сюжетные ситуации, мы заранее ожидаем употребления субст. *невежа*.

Для чистоты эксперимента нельзя обойти стороной примеры, где слово появляется спонтанно (т.е. мало или вовсе не прогнозируемо сюжетом и не находит лексического соответствия в других записях той же песни). У А.Д. Григорьева (Григ. № 277) Марья называет *невежищем* своего супруга, от которого убегает вместе с Кощеём: «Ишша тут жа Марьюшка где лебедь белая / Говорыла она да Коршею Коршеевицю: / «Уш ты ой еси, Коршей да фсё Коршеевиць! / Ты ставай-ко, Коршей да фсё Коршеевиць, / Да наехал нас *невежа* да фсё невежышшо!»». В былине на сюжет «Данило Ловчанин» (Григ. № 275) Настасья словом *невежа*

встречает нежеланного, пагубного гостя: «Заходил тут Иванушко во белу грыню. / Тут-де говорыла-де Настасья да доць Девулисьня: / «Уш ты ой еси, *невежа* да ты *невежишиш*! / Пошто же ты, *невежа*, нынь приехала?..»»
 Ниже Данало тем же самым образом обращается к своей жене:

А просил-де Данилушко Пермьякин сын,
 Просил у Настасьюшки три стрелоцёк.
 «Ах уш ты ой еси, *невежа* да ты *невежишиш*!
 Да нащо ты да що ты даваеш естолько стрелоцёк?..» –
 «Уш ты ой еси, Данилушко Пермьякин сын!
 Ишща ети тибѣ стрелоцъки пригóдяцьце!»¹⁰
 (Григ. № 175)

И т.д. В записях тех же сюжетов у других собирателей словесная материя, как правило, имеет иной вид.

В конечном итоге не так уж и важно, где и при каких обстоятельствах обыгрывается семантическая оппозиция *вежество-невежество*. Лексемы, составляющие рассматриваемую категорию, могут реализовываться сюжетно осмысленно и спонтанно. Субст. *невежа* может быть применен к характеристике как «своих», так и «чужих» богатырей, для обозначения действительно вежливых персонажей и полнейших невеж. Принципиальным для нас является то, что в приведенных и других, не упомянутых здесь случаях, нет и намека на книжную образованность.

Анализ архаичных фольклорных текстов, устных по своей природе, убедительно показывает – *вежа* и *невежа* не были связаны с культурой книги. Можно предположить, что привнесение семы «знание, образованность» в русский язык – заслуга старославянских образцов. До семантической интервенции (< ст.-слав. *нѣвѣжда*) и, вообще, влияния христианства, несущего с собою письменность и книжную науку, древнерусское прилагательное не содержало в своем значении элемента

¹⁰ Такое обращение к жене-Настасье в данном случае сюжетно мотивированно: Настасья знает, как лучше поступить, поэтому исполняет поручение не дословно. Задним умом Данила понимает, что жена поступила вежливо, однако бесполезно.

ученого гнозиса и уж совсем не отсылало ко вторичным знаковым системам¹¹.

На примере субст. *невежа* очередной раз убеждаемся, насколько существенная пропасть залегала между др.-рус. разговорным узусом и литературно-письменной формой языка. Последняя требовала подготовки и, будучи достоянием отдельных социальных слоев, для остальных была во многом недоступной. За тысячелетие существования старин в них так и не проникло книжное значение. Если бы непосвященным, низовым носителям языка на слух были произнесены литературные формулы самоуничужения, хранитель устно-поэтической фольклорной традиции, далекий от книжных форм культуры, воспринял бы их совсем иначе, «неправильно».

Глава 4. Реликты древности в изображении вежества

Фольклорный текст – устный по своей природе. Его письменная фиксация, которой мы пользуемся и на которую ссылаемся, по удачному выражению К.В. Чистова, лишь «более или менее случайный эпизод, очень важный для фольклориста, но не играющий существенной роли в истории фольклора» [Чистов 1988, с. 328]. К сожалению, фольклор как особая разновидность устной речи игнорируется при построении общей теории разговорного языка.

Текст бытового разговора, не ограниченный временем и заранее заданной программой своего «исполнения», непредсказуем, от начала до конца импровизируется. Обиходный (разговорный) язык обслуживает сферу «единичной» коммуникации: каждой конкретной ситуации теоретически соответствует свой текст. Его структура, обычно отличающаяся большей или меньшей аморфностью, создается заново, каждый раз по-новому и впервые. В отличие от «разовых», разговорных

¹¹ На современном этапе «старославянскую» семантику прививает А.И. Солженицын. См. «Русский словарь языкового расширения», где *вежество* означает «ученость, образованность» [Солженицын 1990, с. 26].

текстов фольклорный – хранится в сознании будущего исполнителя, как таковой существует в дискретных актах воспроизведения, а его структура жестко контролируется традицией.

Не вдаваясь в подробности, отметим, что исполнитель фольклорного произведения постоянно находился «под двойным контролем традиции, которую усвоил и он сам, и его слушатели. Если он уклонялся от предписаний традиции и это уклонение не было санкционировано коллективным сознанием его слушателей, то его текст из фольклорного (то есть традиционного) превращался в одноразовый, а он сам – в индивидуального исполнителя индивидуального текста» [Чистов 1983, с. 150]. Благодаря особым механизмам текстостроения, противоборствующим индивидуальным нововведениям, эпические песни (в рамках известной «вибрации текста») закрепляют традиционные, коллективные и часто глубоко архаичные представления о др.-рус. вежестве.

«Развивая идею А.А. Потебни о том, что «лирика – praesens, <...> эпос – perfectum», можно сказать, что русские былины – это своего рода «плюсквамперфект», и «голоса минувшего» звучат в них гораздо громче «голосов» более поздних эпох» [Новиков 2000, с. 48]. В предшествующих главах мы остановились на том, чего нет в языке русского эпоса, что былинному вежеству/невежеству чуждо. Выяснилось, что эпические воззрения о вежах исключают куртуазность и галантную обходительность, с другой стороны, не знают (как системного элемента) книжной учености и образованности. Пришло время специально остановиться на том, что же под вежеством подразумевается, как в древнем героико-эпическом жанре изображаются вежь и вежливый герой, какое содержание в них вкладывается. Остановимся сначала на реликтовых чертах и особенностях.

У каждого русского богатыря своя особенность – своя *стать*, которая, будучи дифференциальным качеством былинного персонажа, обыкновенно перерастает в особый эпитет. Одним из первых на это

обратил внимание К. Аксаков: «Каждый из богатырей имеет свою особенность, свой определенный, живой, вполне художественный образ, проведенный верно сквозь все песни, где только о нем говорится» [Аксаков 1856, с. 10]. Опытные собиратели эпического наследия, такие как А.Ф. Гильфердинг, А.Д. Григорьев, подтвердили кабинетное наблюдение известного славянофила: «Когда слушаешь наших народных рапсодов, - прежде всего дивишься тому, до какой степени все они, все без исключения, верно выдерживают характеры действующих в былинах лиц» [Гильфердинг 1949, с. 29-84; Григорьев 1906, с. 4]. Волх Всеславьевич способен «вражду чинить», поэтому именуется *хитрым-мудрым*; характеризующее имя *Святогор* обозначает место, где великан находится и которого покинуть не в силах, ибо «мать сыра земля его не носит»; Илья Муромец воплощает в себе «спокойную, уверенную силу», наделяется эпитетом *несмертельный*; «нахальный и подлый» Алеша Попович *напуском смел*; новгородский Садко сказочно *богат*; женолюбивый щап Чурила знаменит своим щегольством и т.д. и т.п.

Молодой Добрыня Никитич характеризуется особым качеством. В отличие от своих собратьев он – *вежлив*. Другими характеризующими атрибутами герой не располагает. Свойством вежливого человека – *вежью* – Добрыня отличается и, более того, противопоставляется всем остальным былинным персонажам.

Кардинальное отличие *вежи* от *невеж* отчетливо проводится в старине на сюжет «Добрыня и Алеша», в эпизоде, традиционно именуемом «жалоба Добрыни». Невеселый герой жалуется на судьбину, на то, что мать «спорóдила» его «неталанливого», силою не сильного, смелостью не смелого, поездочкой не храброго, походкою не щапливого, «басою-красою не красовитого», богатством не богатого. В ответ мать называет только ему свойственную «природу», достоинство и качество, отличающие сына от других. Обращает внимание глагольная форма *(во)спородити*,

отражающая сознательную волю роженицы, когда свойства новорожденного целиком зависят от нее:

Если б знала над тобою я невзгодушку,
 Еще этое бы знала безвременице великое,
 То не так бы я тебя Добрынюшку спорóдила.
 (Гильф. № 80)

Как видим, вежество Добрыни не случайное качество героя, приобретаемое учением или житейской опытностью, а врожденное свойство, которым его сознательно наделяет мать. Подтверждение этому находим в старине «Сорок калик со каликою», где в целях возвеличивания традиционно утверждается: «у Добрыни вежество рожденое» (КД № 24).

Из приведенного отрывка видно, что вежество, по былинам, понимается как атрибут давно прошедшего, идеального времени. Когда-то, еще до наступления новых времен, а точнее – «великого безвремения», *вежество* составляло желаемую сущность человеческой природы. В новую эпоху *вежливому* герою живется трудно, т.к. на сцену выступают более ходовые качества: сила, богатство, напуск, щегольство и т.п. (ср. близкую по смыслу реплику у Н.А. Львова; автор богатырской песни мог знать и воспользоваться «плачем Добрыни»).

Практически во всех записях далее повествуется о том, как именно Амельфа Тимофеевна спорóдила бы свое чадо, если бы заранее знала о невзгодах новой години.

Я бы рада тя спорóдити
 А таланом-участью да в Илью Муромца,
 Силою во Святогора нонь богатыря,
 Красотою было в Осипа прекрасного,
 Славою было в Вольгú Всеславьева,
 А й богачеством в купца Садка богатаго,
 А й богатаго купца да новгородскаго,
 А смелостью в Олешку во Поповича,
 А походкою щापливою

Во того было Чурилушку Пленкóвича, -
 Только вежеством в Добрынюшку Никитича:
 Тыи стáтьи есть да других бог не дал,
 Других бог теби не дал да не пожаловал.

(Гильф. № 5)

Кроме «талана» Ильи, смелости Поповича, «тулова» Святогора, «мудрости» Вольги, богатства Садка, «походки» Чурилы, красоты Осипа, к списку качественных характеристик присоединяются «счастки» кн. Владимира, «сила» Самсона Колывановича, «поездки» Дюка, «кудри» царя Кудреянища, «шапка» Кузенка Сибиржаченина, «рукавички» Казарина... Каждая особенность, в представлении исполнителя, органически срастается с физиономией богатыря. Некоторые из них, такие как «кудри», «басота», «счастки», «шапка», затрагивают поверхностные черты, определяются внешними свойствами героя или его социальной принадлежностью. По крайней мере, мы их сейчас так воспринимаем. В иных случаях бинарные оппозиции обуславливают характерологические свойства: «талан-участь» – смертельность, смелость – отсутствие смелости, сила – отсутствие силы, «щапство» – отсутствие щегольства, вежество – невежество и т.п.

Итак, у Добрыни особая «спороженная статья». Своеобразие его богатырской породы заключается в *роженном вежестве*. Герой таким уже нарождается (является вынужденным носителем врожденного свойства и по этой причине «плачется»), причем на матери лежит определенная доля сознательного участия в появлении на свет *вежи-Добрыни*.

Полагаем, что былинная фразеология – *роженое вежество* – доносит до нас отголосок глубокой древности. Былинный словоряд *вежь-вежество-вежливый* сохраняет значение, свойственное др.-рус. языку дописьменного периода. По понятной причине оно не зафиксировано в словарной литературе. Древнее значение мы в силах восстановить, углубившись в область этимологии, на материале русских былин.

Производящая основа *věd-* (> *вежливый*) отсылает к др.-рус. *вѣдь*, которое, в отличие от своего ст.-слав. двойника, обозначало прежде всего чудесное знание: «колдовство, чародейство, знахарство и лицо, обладающее склонностью к этому» (СРЯ XI-XVII). В качестве подтверждения приведем выдержку из «Хождения Афанасия Никитина»: «А все черныя [в Индии], а все злодѣи, а женки все бляди, да вѣдь, да тать, да ложь, да зельи, господаря морять», или перечень преступлений, подлежащих церковному суду, из т.н. «Кормчии Балашева»: «волхование, зелья, вѣдь, зубоѣжа, уроци»¹². О сверхъестественно-колдовской лексико-семантической мотивации красноречиво свидетельствует деривационное гнездо, базирующееся все на той же основе: *вѣдунъ* «знахарь, колдун»; *вѣдуние* «действие ведунов, колдовское»; *вѣдьма*, *вѣдуниха*, *вѣдуница*, *вѣдунья* «знахарка, колдунья»; *вѣдьство*, *вѣдовство* «колдовство, чародейство, знахарство»; *вѣдовский* «знахарский, колдовской» и т.д. Учитывая позиционное изменение *dj* > *ž*, к указанной словообразовательной парадигме следует прибавить еще два производных: эпитет *вежливый*, закрепляемый за Добрыней, и этимологически родственную форму – *вещий* (о.-с. **věšćьjb* < **věd-t-j-b-jb*).

Так же как и прил. *вещий*, *вѣжливъ* первоначально, надо думать, обозначало колдуна или человека близкого к чародейству, нечистой силе. Древнее значение сохранилось в пермских, сибирских, архангельских диалектах, где прил. *вежливый* выступает полным синонимом к субст. *вѣжливец* – «почетное название колдуна на свадьбе» (СРНГ). «Другое имя вежливец – *вражной*, т.е. ведающийся с нечистой силой» (СРНГ). Примечательно, что *вежливец* вел себя, в современном смысле слова, нарочито невежливо: «он бывает нестерпимо груб и сидит за столом в

¹² Чудесная, сверхъестественная составляющая в семантике слова просматривается и в самом древнем его словоупотреблении, на страницах «Успенского сборника», где *вѣдь* – «чудодейственная сила,

шапке» (Даль). Грубость вежливец запечатлена на полотне В.М. Максимова «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу» (1875). См.: Приложение № 3.

Особое внимание следует уделить семантическим механизмам, приведшим к появлению значения «знать; знание». Индоевропейцы выделяют основу **u(e)id-* и появившуюся в результате перегласовки (вокализм *o) основу **uoid-*. На базе **uoid-* у форм исторического перфекта развилось значение «я увидел > я познал > я знаю». В. Мажюлис реконструировал следующую последовательность лексико-семантического взаимодействия: «matyti» > «esu pamatęs» > «žinau» [Mažiulis 1997, IV, с. 215], т.е. «видеть» > «(много) видевший» > «знать» (ср.: рус. «человек много видевший», лит. «daug matęs» в значении «много знающий; опытный»). В последующем это привело к формальной и семантической дифференциации балт.-слав. **vīd-* «видеть» и **veid-* со вторичным значением «знать».

Несмотря на то что процесс дифференциации начался достаточно рано, изначальная семантическая связь ярко проявлялась и долго сказывалась в процессе дальнейшего развития. Г. Плевачова в статье с характерным названием «Záměny sloves věděti i viděti v staroslověnských textech» констатирует: «Protože se tedy obě slovesa stýkají zvláště ve významu „poznati, znáti“, zůstávají stále v úzkém vztahu, který se projevuje možností vzájemné substituce a někdy i působením na tvarovou podobu» [Pleváčová 1957, с. 249-255]. На месте видѣти фигурирует вѣдѣти (напр., в Остр. Ев. — не можетъ вѣдѣти црѣства бжиа; вместо ідеіѣв) и наоборот (негда оузьрите вѣста си *ВИДИТЕ* како близъ несть..., там же). К списку примеров можем добавить и оригинальную др.-рус. фразу из «Хронографа

провидение»: «[Апостол Павел] съсудь изборьнь... еже посыланию носьць, иже ослыпъ н<a> пути прозьрѣвшю божию вѣдию, его же явления хво на лица повѣрьже и бжиа *вѣдѣ* къ вѣрѣ паки поведе».

1262 г.): Нї совьѣва многого родѣ оувѣдати воротѣ великаго ѡграженїа, т.е. «многочисленному роду Совия *не увидеть* ворот великого ограждения».

Семантическая близость (особенно в формах прошедшего времени: «увидел > стало известно, узнал») была очевидна. Прозрачную семантическую связь Г. Плевачова иллюстрирует др.-рус. примером: владыка афанаси сараскин *увѣдалъ* то, *видѣвъ* грамотѣ тѣхъ (Грам. Алекс. митр. 1356 г.). Переход «видевший» в «знающий» и взаимное отмежевание одного значения от другого не были завершены. Иными словами, знание в согласии с этимологией (и отношения субституции между *видѣти*–*вѣдѣти*) еще долго осмыслялось как продукт и непосредственный результат зрительного опыта. Ведает, потому что видит, видел. Человек *несведущий* – тот, кто не был свидетелем, т.е. зрителем, и по этой причине является неподготовленный к чему-либо. Нельзя исключить, что супплетивизм формы и содержания привел к тому, что гл. *ведать* постепенно отошел на периферию. *Ведать* уступило место совр. рус. *знать*.

Во время диалектологических, фольклористических экспедиций на Русский Север часто приходится слышать фразу: *он знает, знающий*. «Мы не знаем, он знает», «я дак ничего не знаю, бабушка знала подшебонить» и т.п. Семантическая калька с др.-рус. (< др.-рус. *вѣдунъ* «колдун», дословно «ведающий» и т.д.; с XIX в. *знахарь* «то же») сейчас используется для обозначения колдуна. На заведомо наивный вопрос, что же он знает и почему, информант, как правило, отвечает: «по родословию», «у них (в семье) все знали» или «да ведь у него все зубы во рте». Область особых колдовских «знаний», в представлении современных информантов, распространяется на сумму заговорных текстов: «он знат подшебонить», «слова знать надо». Нередко магические «знание» воспринимаются чудесно-субституционально или абстрактно, вне зависимости от вербально-текстовых навыков. Тогда слова-заговоры являются всего лишь следствием чудесных способностей, само же «знание» может носиться

колдуном подмышкой, передаваться по крови, посылаться по воде и т.д. До сих пор встречаемся со взглядом, что каково бы ни было «знание», желающий его перенять/получить, т.е. стать *знающим*, должен иметь в целостности и сохранности зубы.

Сохранные зубы или же зубье (чеш. *chrup*) выступают атрибутом знающего. Не беремся судить, насколько это убеждение древнее. В качестве отступления укажем попутно на вероятную взаимосвязь традиции восточнославянского заговора и рус. *зубрить*, *зубрёжка*, *зубрила*, укр. *зубрити*, блр. *зубрыць* (в других славянских языках подобных лексико-семантических аналогов не обнаружено). На сегодняшний день существуют две этимологии. Первая отсылает к гл. *зубрить* в значении «насекать на чем-л. зубцы, делать зазубрины» (в словарях с 1792 г., *зазубрина* с 1771 – см. Черных 1994, с. 331). Семантическая мотивация приобретает следующий вид: «делать зазубрины > делать монотонную работу > механически заучивать». Второе объяснение – *зубрить* (< *зубр*) – базируется на механизмах калькирования с немецкого, согласно которым рус. *зубрить* родственно чеш. *biflovati* (< нем. *büffeln*, от франц. *bufle* «буйвол < работать, как буйвол»; «бык, вол = зубр»).

Существующие этимологемы не кажутся нам убедительными. Совсем не обязательно акцентировать механистичность и монотонность процесса заучивания. Данный школярский оттенок значения мог появиться как раз таки достаточно поздно. Семантическая доминанта первоначально была сосредоточена на качестве, а именно крепости запоминания. Именно она лучше всего запечатлена в русской фразеоматике: *выучить на зубок* т.е. «крепко, прочно»; *от зубов отскакивать* «знать досконально, накрепко» (ср.: *ни в зуб* «о ничего не знающем»; *не по зубам* «не по способностям»; *в зубах навязло* «что-л. надоело»). Летом 2004 г. в д. Пяльма Пудоожского района (межзональная группа сев. нар., онежская подгруппа) нам посчастливилось зафиксировать лексему *зубить* в значении «учить, заучивать»: «Молитов я таких не научивши была, а

теперь памяти нету и не назубить, а иначе я дак не запомню ничего» (М.Г. Алешина). Таким образом, на первый план можно выдвинуть лингвофольклористическую этимологию. По народным представлениям, гарантом восприятия чудесных знаний, заговорных текстов выступают зубы. Склонность к словам, крепкому знанию, запоминанию и, в конечном итоге, к заучиванию текста наизусть, следовательно, могут быть объяснимы жанровыми особенностями вост.-сл. заговоров.

Для современного информанта *знающий* является, преимущественно, носителем текстов-заговоров, характеризуется наличием здоровых зубов¹³ (*знающий* знает, потому что *назубил* от кого-то/на кого-то слова). Совсем иные отношения господствовали, когда в обиходе были выражения для обозначения колдуна с корневой основой *věd-* (совр. *знающий*, *знахарь*, как мы уже отметили, всего лишь калькируют др.-рус. *вѣдунъ*, *вѣдуница*, *вѣдунья* и т.д.). Из-за очевидных супплетивных отношений между *вѣдати* и *видѣти* непросто, а часто и невозможно провести жесткий семантический рубеж между производными: *видь* – *вѣдь*, *видѣние* – *вѣдание*, *видьць* – *вѣдець* и т.д. Одно часто подразумевало другое. Слова, развивающие основу *věd-* и обозначающие человека – носителя чудесного знания, включали в свой семантический арсенал и неотъемлемый зрительный опыт. С современной перспективы *ведьмак* выступает в значении «знающий», но носителем др.-рус. языка воспринимался не столько «ведающим», сколько «видящим».

Ведун, *ведьмак*, *ведьма*, *вещий*, *вежливец* видят то, что другим недоступно (ср. со зрительной семантической мотивацией балт. языков: *raganius*, *ragana* «ведьмак, ведьма» < *regėti* «видеть, смотреть»; др.-прусс. **waidilas* – «жрец, вайделот», лит. *vaidilutis* – «то же»; прус. **vaidlītvei* –

¹³ В процессе поиска знатоков заговоров случается, что опрашиваемые указывают на «знающего» только на том основании, что у него здоровые зубы. Позднее часто оказывается, что такой информант не владеет магическими текстами и по образу мысли далек им. Последний раз с подобного рода ложной наводкой пришлось столкнуться летом 2004 г. в д. Авдеево.

«колдовать < предвидеть будущее», лит. *veidas* – «лицо», *vezdėti* – «глядеть, смотреть», диал. *vėĩmi* ≪ *vėĩd-mi* – «вижу»). В прозаических нарративных жанрах фольклора, там, где фигурируют колдуны, часто акцентируется особая роль органов зрения. Подробнее останавливаться на данной проблеме не будем. На данном этапе для нас было важно установить былую принадлежность *вежливого* героя к семье ведьмаков, вещих персонажей, провести параллель с северорусским *вежливецем*, выявить качества (роль видения), актуальные в призме др.-рус. языка. Настало время проверить, как этимологические раскладки сочетаются с конкретным материалом русских былин.

Устойчивое сочетание *роженое вежество* подтверждает предположение о первоначальном колдовском ореоле Добрыни. Врожденная статья отсылает нас к другому былинному персонажу. Помимо героя-вежи, с врожденным свойством изображается еще Волх-Вольга¹⁴ (только он и никто больше). Появление богатыря на свет вызывает всеобщий переполох в природе:

А и на небе просветя светел месяц,
а в Киеве родился могуч богатырь,
как бы молоды Волх Всеславьевич.
Подрожала сыра земля,
встряслось славно царство Индейское,
а и синяя моря всколыбалось
для-ради рожденья богатырскова
молода Волха Всеславьевича.
Рыба пошла в морскую глубину,
птица полетела высоко в небеса,
туры да олени за горы пошли,
зайцы, лисицы – по чащицам,
а волки, медведи – по ельникам,
соболи, куницы – по островам.

(КД № 6)

¹⁴ В фольклористике, особенно между последователями исторической школы, широко распространено мнение, будто образ Вольги доносит историческую память о Вещем Олеге (X в.)

Вольга или же *Волх* наделен *хитростью-мудростью*, способностью к оборотничеству, колдовству. Природа и Индейский царь чувствуют появление вещего героя, бьют тревогу из-за нависшей угрозы.

В том же самом ключе – в богатырской песне о Скимене-звере – изображается рождение вежи. Скимен, по народным представлениям, – «мать/отец» всех зверей, властелин подземелья и ключей, случайным движением тела угрожающий всколебать всю землю. Народная фантазия рисует ужасающую картину бега Скимена: поднимается ветер, накатывается грозная туча, от звериного крика мутятся, волнуются реки, от свисту соловьиного клонятся темные леса, от змеиного шипения вянет трава и т.п. Предчувствие того, что народился герой, способный его одолеть («заслышал рожденьице Добрынино») вызывает у него ярость. И действительно, народившийся герой, забравшись на могучий дуб, «верным глазом» (*Соб. I, № 480*) убивает Скимена и таким образом высвобождает природу и людей. Победитель лютого зверя отождествляется с Добрыней:

Ох далече, ох далече во чистом поле,
 А еще того подале – во раздольице,
 Выбегало тут стадечко звериное,
 Что звериное-змеиное.
 На перед-то выбегает Скипер зверь:
 На Скиперу зверю шерсть бумажная,
 Круты роги и копытчики булатные.
 Отбегает Скипер зверь ко Непре реке:
 В Непре реке вода вся возмутилася,
 Круты красны бережёлки зашаталися,
 Со хором, братцы, вершёлки посвалялися.
 Как зачуял вор-собака нарожденьице:
 Народился на Святой Руси, на богатой,
 Молодёшенек Добрыня сын Никитьевич.
 (*Кир. № 2*)

В тех случаях, когда имя вежи выпускается, эпизод о Скимене предваряет песню добрыниного цикла или же непосредственно за описанием зверя, его буйств, следует материнское благословение в адрес

вежи-богатыря (См.: *Кир.* II., № 1, 5, 6; *Соб.* I. № 480-483; *Тих.-Мил.* № 18-20).

Вежливый Добрыня и вещий Вольга единственные два героя, которые появляются на свет с врожденной статью. Их появление вызывает смятение. Древнейшая запись «Волха Всеславьевича» из сборника Кирши Данилова объясняет, откуда берутся сверхъестественные способности. Вольга-богатырь зачат от змея:

По саду, саду, по зеленому,
 ходила-гуляла молода княжна
 Марфа Всеславьевна.
 Она с каменю скочила на лютова на змея –
 обвивается лютой змей
 около чебота зелен сафьян,
 около чулочика шелкова,
 хоботом бьет по белу стегну.
 А втапору княгиня понос понесла,
 а понос понесла и дитя родила.
 (КД № 6)

Происхождение от хтонического существа определяет колдовское начало Вольги, его рожденную хитрость-мудрость.

Записи «Вольги», сделанные в 30-40 гг. XX в., отражают вторичное бытование былины, опосредованное книгой. Ориентируясь на книжный источник, певцы воспользовались текстом Кирши Данилова [Новиков 2001, с. 27-28]. Остаются, таким образом, записи П.Н. Рыбникова, А.Ф. Гильфердинга, А.М. Астаховой. Для классических обонежско-карогопольских собраний характерно родословное сближение Добрыни и Вольги. Реликтовая черта, т.е. рождение героя от змея, уступает место реально-мирскому происхождению: «Жил Святослав девяносто лет, / Жил Святослав да переставился. / Оставалось от него чадо милое, / Молодой Вольга Святославгович. / Стал Вольга ростеть матереть, / Похотелось Вольгу да много мудростей» (*Гильф.* № 73; см. также *БС* № 130, 130а, 140). Ни Святослав, ни Никита (отец Добрыни) не играют в разворачивании

сюжета активной роли. Заметное внимание (в случае с былинами о Добрыни) однако уделяется женской половине семейства.

Рязанский богатый гость Никита Романович, умерший, когда сын был ребенком или находился в утробе матери, фигурирует только номинально. Певцу необходимо было восполнить вакуум и хотя бы упомянуть об отце богатыря. К непосредственному сюжетному действию привлекаются мать, тетка, сестра героя, его крестная. Изображение родни исключительно по материнской линии свидетельствует о возрасте былинного образа. Мужская линия в процессе сложения эпических произведений о Добрыне не представляла существенного интереса. Соответственно, своими корнями они могут восходить еще к эпохе матриархата (данным мнением, с которым мы полностью согласны, поделился в процессе обсуждения работы Ю.А. Новиков).

Врожденное вежество Добрыня перенимает у матери. Именно мать *спорождает* Добрыню таковым, поэтому ее художественный образ, как никакой другой, важен для понимания вежливого героя. Примечательно, что мать, сестра, тетка Добрыни наделяются атрибутами, свойственными колдунам. Все они способны «оборачивать» и «оборачиваться», превращать себя и других во что-либо (мать-оборотень – *Гильф.* № 17, № 227, 267; сестра-оборотень – *Гильф.* № 163, № 316, *Тих.-Мил.* № 23, 26; тетка-оборотень – *Гильф.* № 288, *БС* № 7 и т.д.) Былина, предоставленная В. Далем для собрания П.В. Киреевского, доносит любопытную черту, касающуюся магических способностей самого вежи. В ней Добрыня меняет свое обличье – оборачивается сизым голубем и летит в чистое поле:

Не послушался Добрыня большей сестры,
Молодой Катерины свет Никитишны.
Обернулся Добрыня сизым голубем,
Полетел Добрыня во чисто поле,
Ко той Маринке ко Игнатьевой.

(*Рыбн.* № 3)

В мезенских текстах Добрыня, спасаясь от змея, *ярым гоголем обернулса* (Аст. Т. 1, прилож. № 3); осваивает *науки богатырския: по поднебесью ходить ясным соколом, по воде – ярым гоголем* (СРФ, № 14).

Проясняется, таким образом, своеобразная генеалогия природных колдунов. В отличие от наученной нечисти (добровольной или невольной) среди природных колдунов сверхъестественная сила передается из поколения в поколение. По воззрениям восточных славян, «девка родит девку, эта вторая приносит третью, и родившийся от третьей мальчик делается на возрасте колдуном, а девочка ведьмой» [Славянская мифология 1995, с. 74-75]. Мать и тетка Добрыни занимаются колдовством, герой-вежа и родная сестра идут по их стопам, «по родословию» перенимая др.-рус. *вѣдь* – «колдовство, чародейство, знахарство, чары; чудодейственную силу». Мать Добрыни обладает теми чудесными способностями, которыми в состоянии наделить детей, что как нельзя лучше объясняет материнское сетование на то, что *спорóдила* вежу, а не качественно иного богатыря. Иначе объяснить былинную фразеологию (*у Добрыни вежство рожденое и ученое*) мы не в силах.

Кроме генеалогии прирожденного колдуна, историко-типологического соответствия северорусскому *вежливицу* и вещему Вольге, можно указать на некоторые содержательные элементы песен, которые напрямую обусловлены древним колдовским образом героя.

Примечательна общая специфика «героических» поступков. Как ни один другой былинный персонаж, Добрыня борется с разного рода нечистой силой (и одновременно близок ей: кроме кровных родственников-оборотней, нужно отметить случаи свойственного родства со змеем, женитьбу на колдунье-Маринке). Это и понятно, противостоять ведьмам, змеям и прочим мифологизированным существам по силам лишь аналогичному по «мудрости» герою. Только колдун может снять порчу, разрушить злонамеренные чары и даже погубить другого колдуна или

ведьму. Добрыня со своим вежеством именно таков. С реально-историческим врагом, напр., полчищем татар, может справиться и любой иной богатырь. Когда же противник «вражду чинит», оказывается «не по зубам» (!) остальным, – необходим герой-вежа (воинско-героические деяния при этом уходят на второй план, вежливый богатырь борется не столько силой, сколько «знанием», вежеством). Поединщиками Добрыни становятся Скимен-зверь, Змей, «злая еретица Маринка», Невежа, Баба Яга. Специализация молодого Добрыни на нечисти связана с эквивалентностью сил. Из раза в раз противостоять нечистой силе и побеждать ее способен герой равной «породы», вполне соответствующий или, выражаясь былинным языком, *супротивный* ей в качественном отношении.

Змей и Скимен-зверь заранее знают, что их конец придет от вежи-Добрыни. Почувствовав кажущееся превосходство, Змей не может поверить «пророчествам старых людей» и в предчувствии скорой победы злорадствует:

Волшебники волшили, проволшилися,
 Будто мне от Добрыни-то и смерть принять.
 А теперь ты, Добрыня, во моих руках.
 (Мил. № 21)

Припомним, что то же самое случается и с генетическим двойником вежи-Добрыни – вещим Вольгой: «встряслось славно царство Индейское... для ради рожденья богатырскова» (КД № 6).

Ценные сведения предоставляет былина о наезде Невежи. Антипод героя летает по полю, требуя себе поединщика. В противном случае угрожает разорением государства. Победить Невежу может только герой-вежа. Илья двенадцать лет стоял на заставе, но (из-за качественного своего несоответствия) не мог одолеть врага. Муромец, славный тем, что «смерть ему в бою не написана», просто не видит противника:

– Да вы братцы могучие богатыри!
 Да хоша долго сидить, а говорить будёт
 Да кому в поле ехать поединщиком?
 Да я ведь недавно из походу-де пришел,
 Да бился рубился с невежей богатырём.
 Да летает невежа черным вороном,
 Да я не мог его на очи обоздрити.
 Кабы увидел собаку, убил бы из туга лука».
 (Гильф. № 222)

Всевидящее око Добрыни Никитича, позволяет видеть то, что для других глаз закрыто. Предостережение и поучения, как вести с необычным врагом, так же как и в былине «Добрыня и змей», совсем не случайно дает Амельфа Тимофеевна, от которой сын перенимает вежество:

Дитя ты мое, чадо милое!
 Невежа-то среди дня летает черным вороном,
 По ночам ходит Змеем Тугариновым,
 А по зорям ходит добрым молодцем.
 Берегись ты от Невежи черна ворона!
 (Рыбн. № 193)

В другой старине на сюжет «Добрыня и Маринка» герой убивает дружка, а потом и саму колдунью. Маринка, киевская «зельчица-кореньщица», увеселяется со своим любовником. Добрыня, прогуливаясь по улицам, видит двух целующихся, обнимающихся голубей, и – «разгорелось у Добрыни ретиво сердце». Выпущенная в голуба со голубкою стрела попадает в Змея. Поражение другой цели¹⁵, если и объясняется, то ролью случайности, дескать, «по грехам над Добрынею учинилося / левая нога ево покользнула, / правая рука удрогнула» (КД № 9). В некоторых случаях Добрыня метится прямо в змея (Гильф. № 17, 78),

¹⁵ Похожая ситуация в былине «Иван Годинович». Кошей стреляет в голубей (лебедей, ворона, редко – в привязанного к дубу Ивана Годиновича), но попадает в самого себя. Нечаянное самоубийство определяется тем, что враг стреляет из чужого оружия. «Послушливая стрела» попадает по назначению, т.е. так, как была первоначально заговорена хозяином. Иначе говоря, изменение траектории здесь связано с культом оружия и традицией оружейного заговора [Новиков 2000, с. 33-36].

т.е. убивает его вполне осознано. В прозаической записи А.М. Астаховой утверждается, что богатырь с самого начала «задумал улицу вычищать у Маринки злой безбожницы», причем стрела, пронзив голубя, только потом попала в любовника: «Голубка застрелил, пролетела эта стрела и убила ее друга» (Аст. I, № 7).

Не зная о способностях Маринки, не вполне понятно, почему богатырь так поступает, почему вид голубей вызывает такую реакцию («за беду стало», «в запрету́ пришло», «разгорелось ретиво сердце» и т.д.). Необходимо иметь на уме, что Маринка – колдунья-оборотень, и под воркующими голубями в действительности могут скрываться колдунья и ее мил дружок¹⁶. Глядя со стороны, богатырь выпускает стрелу в голубя... Но поражает змея. Можно предположить, что Добрыня со своей вежью видит иначе, распознает больше, чем остальные. Эксплицитно об этом сказано в одном тексте А.Ф. Гильфердинга:

Он увидел голуба да со голубушкой,
 А сидит же голуб со голубушкой
 А во той же нонь Маришки во Кайдальевны,
 В ей же он сидит голуб во улички,
 Сидят что ли голуб со голубкою
 Что ли нос с носком, а рот с ротком.
А Добрынюшке Никитичу не кажется,
Что сидит же тут да голуб со голубушкой (курсив наш – И.Л.)
 Нос с носком да было рот с ротком,
 Она натягивал тетивочки шелковыи,
 Он накладывал тут стрелочки каленыи,
 Он стреляет тут же в голуба́ с голубушкой.
 (Гильф. № 5)

В отместку за смерть милого дружка колдунья оплачивает той же монетой – оборачивает Добрыню туром, т.е., по сути, ставит его в одинаково-уязвимое положение. В свое время Ю.И. Смирнов и В.Г. Смолицкий усмотрели в данном сюжете элементы пародии: «Убийство

¹⁶ В параллельной сюжетной ситуации («Иван Годинович», см. предыдущее примеч.) в голубей превращаются Алеша Попович и Илья Муромец – Гул. № 6; Леонтьев № 16; БПЗБ № 70.

змея не представляет никакой трудности. ... Легко победив змея, богатырь оказывается беспомощным перед чарами самой Маринки» [ДиА, с. 391]. Учитывая архаичные качественные характеристики героя-вежи, позволим не согласиться с таким взглядом и предлагаемой датировкой устно-поэтического произведения (XVII в.). Легкая победа над змеем объясняется опасным состоянием, в котором он на время оказался¹⁷. Надо думать, что если бы стрела пронзила «голубушку», то битва со змеем оказалась бы не менее сложной и опасной.

Итак, былинный эпитет *вежливый* принадлежит к лексико-семантической группе слов (< *věd-*), обозначавших в др.-рус. языке различные формы чудесного знания, познания, осведомленности [Лемешкин 2004, с. 25-36]. Для обозначения Добрыни он используется совсем неслучайно. Эпические песни в небольшой мере, но все же отчетливо сохранили память о категории вежества дописьменного периода. В былинах наглядно проступают особенности, связанные с древнейшим колдовским наполнением образа вежливого Добрыни. В историко-типологическом плане особая близость прослеживается между вещим Вольгой и вежливым Добрыней. Оба характеризуются «врожденной статью»: «вежеством» и «хитростью-мудростью», качествами, полученными по крови от «чудесного родителя». Особого рассмотрения заслуживают общие закономерности сюжетостроения, одинаковые мотивировки сюжетных ходов, диффузия сюжетов о Волхе и Добрыни (рождение героев; быстростремительное взросление; предчувствие смерти у их противников).

Магические способности Добрыня перенимает у матери. Кроме Амелфы Тимофевны и самого Добрыни, колдовство, оборотничество практикуют сестра и тетка богатыря. Выявляется, таким образом, былинная генеалогия природных, рожденных колдунов (в

¹⁷ Та же самая картина в других змеборческих сюжетах: в былинах «Алеша Попович и Тугарин», «Илья Муромец и Издолище» змей не распознает богатыря, переодетого в каличь одежды, и ведет себя беспечно; в некоторых записях «Алеша Поповича и Тугарина» под влиянием духовного стиха о Егории герой вымалывает помощь с небес – начинается дождь, который смачивает крылья змея.

противоположность наученным), где сверхъестественные способности передаются из поколения в поколение. Именно поэтому вежество Добрыни традиционно именуется «роженным». Ближайший аналог герою-веже, носителю колдовских качеств, находится в северорусских диалектах (*вежливец*). Как представитель эквивалентной природы (больше видит – много ведаёт) былинный герой противостоит нечистой силе. С историческим врагом пути Добрыни скрещиваются не так часто. Одолеть Орду или «Литву поганую» может любой иной богатырь.

В древнейших (по времени сложения) эпических произведениях Добрыня соревновался с нечистью в совсем особой вежливости – колдовской! Эксплицитно, хотя и в сатирической форме, об этом говорится у Кирши Данилова. В старине «Три года Добрынюшка столыничал» (на сюжет «Добрыня и Маринка») Змею удается избежать смерти:

А и тут Змей Горыныч, хвост поджав,
 да и вон побежал,
 взяла его страсть, так зачал срать:
 а колышки метал, по три пуда срал.
 Бегучи, он, Змей, заклиняется:
 «Не дай Бог бывать ко Маринке в дом!
 Есть у нее не один я друг –
 есть лутче меня и *повежливея!*»
 (КД № 9)

Исходя из вышесказанного, можно придти к выводу, что вежливый Добрыня первоначально соотносился с добрым, расположенным к людям ведуном. Генезис героико-эпического образа помогает объяснить и былинную молодость Добрыни, так как, по народным воззрениям, у прирожденного ведьмака часто не росли ни усы, ни борода.

Глава 5. Вежливый Добрыня и вещий Волх. К истории эпического образа колдуна

«Эпос возникает не при возникновении государства, а раньше. Он создается при разложении родового строя. Русский эпос возник задолго до начала образования Киевского государства» [Пропп 1999, с. 57]. Былины, известные по записям XVII-XVIII в. и собранные на протяжении XIX-XX вв., представляют собой последнюю ступень в развитии. О песнях «старшего слоя» часто можно лишь догадываться. Имеющийся в нашем распоряжении устный материал свидетельствует, что старины неукоснительно развивались в направлении демифологизации содержания, ослабления элементов фантастики [Новиков 2000, с. 38]. Если в старых записях *вежливого* Добрыню о готовящейся свадьбе предупреждают *вещие* птицы или *вещий* конь, то в новых – их место занимают странники-пилигримы, «старухи-кошельницы» и т.д. Надо полагать, что в исполнительской традиции, не попавшей в поле зрения древних книжников и собирателей нового времени, рудиментов проторедакций, пронизанных языческим мировоззрением, было куда больше.

Все, что выше было сказано относительно колдовских особенностей Добрыни, распространяется на древнейший слой эпических песен. Для архаического эпоса, возникшего на стадии разрушения родоплеменного быта, характерны деление мира на здешнюю и потустороннюю части, борьба с мифическими существами. По наблюдениям В.Я. Проппа, ранний эпический герой больше внимания уделяет поиску жены, личному обогащению. В центре внимания оказываются волхвы-охотники, великаны, отважные путешественники в иные миры, победители чудищ.

«Киевский» и «новгородский» эпос как художественная система складывается много позднее, в период древнерусской государственности, и, что важно, – во многом отрицает идеологию архаического, родоплеменного эпоса, изображая его конфликты «с обратным знаком» (В.Я. Пропп). То есть то, что когда-то считалось достойным и

идеализировалось, на новой стадии развития общества и эпоса часто порицается.

«Критическая» реакция государственного эпоса на предшествующие ему песни хорошо прослеживается на примере того же Волха. Вещему герою в русском эпосе посвящены два сюжета. В первом Волх Всеславьевич изображается колдуном-оборотнем и корыстным завоевателем. Собрав дружину, герой нападает на «Индею богатую», колдовством способствует достижению победы, выбивает мужскую часть населения и усаживается на царство. Хищническая старина о Волхе единственная подобного рода, во всех остальных случаях богатыри занимают оборонительную позицию. В былинах на сюжет «Вольга и Микула» вещей герой, лишившись грозных, устрашающих качеств, уже прямо высмеивается, пародируется на фоне пахаря. Таким образом, время колдунов и великанов безвозвратно проходит, на актуальную эпическую сцену выходит новый герой, вполне человек. Особую весомость получает крестьянин-землепашец: Микула Селянинович, Илья Муромец (ср. геральдическое сказание о Пршемисле Ораче).

Анализируя дошедшие до нас тексты, исследователи приходят к выводу, что «в ряде случаев близкие по тематике или сюжетному построению эпические песни «старшего слоя» могли вытесняться более поздними» [Новиков 2000, с. 137]. В качестве классического примера приводятся «Алеша Попович и Тугарин» и «Илья Муромец и Идолище», где крестьянский сын вытесняет изначального былинного змееборца. Так происходила переделка старых сюжетов, сюжетных ситуаций, мотивировок по требованиям и запросам нового времени. Новый тип героя, проявляя известную долю сюжетной «агрессии», заселялся в чужой текст, замещал более древний образ.

Вещий Вольга и вежливый Добрыня историко-типологически когда-то составляли неразрывную пару, однако в процессе дальнейшего развития эпоса их пути разошлись. Вольга потерял привлекательность, начал

высмеиваться и порицаться, Добрыня наоборот – стал излюбленным эпическим героем. Былин о Вольге собрано чрезвычайно мало. Насколько количество сделанных записей может свидетельствовать о былой популярности, сказать непросто. Нельзя забывать, что записи делались на излете традиции, и их количество не обязано о чем-либо свидетельствовать. Более красноречивой и убедительной представляется динамика сюжетосложения. В то время как популярный Добрыня обрывает новыми и новыми историями (исполнителями пополняется эпическая «биография» вежливого героя; сюжеты возникают за счет жанровой диффузии; возникает особый цикл песен о Добрыне), новых произведений о Вольге, если не считать упомянутой пародии на него, не заметно.

Понятно, для того чтобы «выжить», образ Добрыни, принадлежащий к древнему пласту русского эпоса, должен был претерпеть существенные метаморфозы. Иначе ему не удалось бы удержать внимание исполнителей.

На вопросы, в каком направлении и как изменялся образ героя-вежи, какова природа взаимосвязи между Вольгой и Добрыней, ответить сложно. Мы хотели бы задать нашему прошлому, русскому эпосу, слишком «глубинные» вопросы и, конечно, не всегда смеем надеяться на достоверные ответы. На правах гипотезы предложим свое объяснение, отчасти лингвофольклористическое, предыстории (архаический эпос) и истории (стадия государственности) вежливого героя.

Сразу же оговоримся. Мы далеки от мысли, будто Добрыня отнял сюжеты у Вольги, одновременно переняв у последнего некоторые его свойства. Природа их взаимоотношений представляется более сложной (чем у Муромца и Алеши Поповича). Полагаем, что на ранней стадии образ волхва, колдуна, не был дифференцирован. Спецификация героя на «хитрого-мудрого» и «вежливого» приобрела актуальность на стадии формирования государственного эпоса. В целях сохранения песенных сюжетов стало необходимо модифицировать архаичный образ, каким-то

образом осовременить колдуна, приблизить его людям. Такова в общих чертах история возникновения вежливого героя, вежливец – ведьмака, близкого и расположенного к людям. Действия вежливого героя направлены в помощь социуму, тогда как вещей герой преследует свои корыстные цели. Добрыня Никитич плачется из-за своей принадлежности к вежливым/вещим персонажам (см. «плач Добрыни»), Вольга нет.

Вероятно, тогда же к эпическим образам колдунов (генетически родственных) прикрепились собственные имена. Как и в других подобных случаях, именование персонажей не было чем-то механично-случайным. Перед нами говорящие имена. В процессе номинации отразилось все то же осовременивание, «специализация» и разделение их полномочий. Древний колдун так и остался *Волхом* (< волхв), *Вольгой* (нельзя исключить, что имя *Вольга* каким-то образом взаимосвязано с Вещим Олегом, хотя доказать это не возможно); вежливый герой получает имя *Добрыня*.

Для целостного восприятия известного нам государственного эпоса безусловный интерес представляет этимологический анализ имени героя-вежи. Славянское **dob-r-: */po-, sь-, u-/dob-нь-* соответствует балт. **dab-r-: *dab-n-* (пр. *dabber* – «ещё», лит. *dabaĩ* – «теперь», «сейчас», *dābar* – «ещё», *dabnūs* – «нарядный»). Старые основы ср. рода на *-r* противостоят основам без *-r* типа лит. *dabà* «природа», «вид», «способ», «характер», лтш. *daba*, русск. *дóба*, чеш., слвц., польск., в.-луж., н.-луж. *boda*, болг. *дòба*, с.-хорв. *дòба*, словен. *dóba* и т.п. В балтийских языках лит. *dabar*, пр. *dabber* можно понимать как «соответствующий данному времени», а слав. *dobr-* – как «соответствующий...», «подобающий...», но не только во временном плане. *Добрыня*, соответственно, в отличие от Волха, ведет себя подобающе. Значение «подобающий, подходящий, надлежащий, соответствующий» у **dob-: *dob-r-* сохранилось не только в эпических текстах (ср. готск. *gadaban* «подобать», «подходить», *gadobs*; лит. *gera* (*gražia*) *daba* «добром, по-хорошему», ср.: «Kad neisi gera daba, tai nuvesim panevalia» [LKŽ 2, с. 199]; рус. *свадьба добром* «свадьба с соблюдением

всего или части свадебного обряда», *свадьба убогом (недобром), добром выйти замуж, я добренько скажу* [Афанасьев 1957, Т.1., с. 280; Топоров 1975, с. 281-285] и т.д.

Глава 6. Вежество как жанровая сюжетобразующая категория былин

Итак, рассмотрев реликтовые особенности, опосредованные ранним, архаическим эпосом, мы вплотную подошли к тому, как рассматриваемая категория осмысливается в художественной системе русского героического эпоса. Само собой разумеется, вещи качества и свойства Добрыни, несмотря ни на что сохранившиеся в былевых песнях, данную художественную систему не образуют.

Начальное представление о былинном вежестве и вежливых персонажах можно составить на основе уже разобранных текстов. Старина «Терентий муж», повествующая о действиях *вежливых* скоморохов, отчасти уже рассмотренные былины о Добрыне, этимология имени позволяют дать предварительную характеристику вежливого персонажа, действительно актуальную для былинного жанра. *Герой-вежа – это такой герой, который всегда, даже в самых непростых ситуациях, поступает как надо, правильно-подобающе.* Вежество распространяется, следовательно, не на статическое качество характера, а на совокупность предпринимаемых героем действий. Былинная категория вежества – категория по преимуществу акциональная.

«Герои русского эпоса соблюдают основные требования бытового и феодального этикета. Отправляясь в опасную поездку, они просят благословения у родителей («Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Добрыня и змей», «Дюк Степанович», «Михайло Данилович» и др.); заходя в княжеские палаты, богатырь *Крест кладёт по-писаному, // Поклоны ведёт по-учёному...*; соглашается выполнить поручение киевского князя, даже если оно идет в разрез с его собственными интересами («Данила Ловчанин», вторая часть «Добрыни и змея», большинство версий

сюжета «Илья Муромец и Калин-царь» и др.)» [Новиков 2004, с. 201]. С другой стороны, «многие поступки эпических героев продиктованы пониманием ими своей особой роли в социуме, правилами богатырского кодекса чести. <...> Строго регламентировано поведение богатырей во время боя и эпических состязаний, при встрече с неизвестным в чистом поле (то есть на опасной территории). Дюк отказывается первым скакать на коне через реку, заявляя своему сопернику: *Твоя похвальба сегодня наперёд зашла* или *Твой задор зашел наперед* (Гильфердинг, № 152; Рыбников, № 131). Данила Ловчанин не дает коварному Визе Лазурьевичу свою саблю или *сбрую богатырскую: Во цистом поле сбруюшка-ли – да не ссудушка* (Григорьев, № 292). У богатырей принято при встрече со «своими» подавать копье *тупым концом*, а недругу – *вострым концом*. Позорно нападать на спящего (*Сонного убить, будто мёртвого*), на раздетого (*Над нагим ругацьсе – да що над мертвым же* – Григорьев, № 408 и др.). Богатырская этика не позволяет вдвоем-втроем нападать на вражеского *нахвальщика* (*Всем вам вдруг биться нечестно!* – Киреевский, 1, с. 58). Еще одно неписаное правило – не убивать поверженного противника, не *творить любовь сердечную* с освобожденной пленницей, не *узнав их дедины и отчины*» [там же, с. 202].

Добрыня Никитич соблюдает богатырский этикет. Было бы однако ошибочно полагать, что вежество русских былин неразрывно спаяно со строгой регламентацией социальных отношений и устоявшимися поведенческими моделями. Былинный этикет соблюдают и другие богатыри, но только Добрыня слывет вежливым.

Еще более необоснованным представляется сближение Добрыни с пресловутыми «добрыми» поступками. Подобную интерпретацию в свое время предложил К. Аксаков: «Самое название: Добрыня, уже обрисовывает нрав этого богатыря; и точно, доброта и прямотушие его отличительные свойства» [Аксаков 1856, с. 13]. Доброта, понимаемая как качество «мягкого» характера, чужда эпосу. Дилемма, добро ли поступает

герой или же зло, вообще малоизвестна фольклору. Нарративный эпос содержит огромный пласт примеров, когда герой ведет себя, в нашем понимании, совсем не «по-доброму». Далеко идти не стоит. В детстве Добрыня, по примеру Василия Буслаевича, «шутотцьки зашущиват» со сверстниками: «Кого за руку возьмёт, – руку выдернёт, // Кого за ногу подопнёт, – ногу вышибёт, // По белой шее ударит, – голова веть с плечь» (*Григ. I, № 113*); в былине «Бой Добрыни с Дунаем» разоряет чужой шатер. Уезжая из дома, герой-вежа не слушается матери: «Ай же ты родитель моя матушка! / А даешь мне-ка́ прощение – поеду я, / Не даешь мне-ка прощения – поеду я» (*Гильф. № 59*). Возвращаясь с поля, герой «взашей» расправляется с приворотниками: «Он не спрашивал у дверей да придверничков, / У ворот не спрашивал да приворотничков, / Всих же прочь взашей да и отталкиват» (*Гильф. № 5*) и т.д.

Говоря о «доброте и прямодушии», К. Аксаков одновременно вынужден ходатайствовать, оправдывать Добрыню. Наибольшую трудность вызывает сюжет «**Добрыня и Маринка**», включающий в себя сцену жестокой расправы с колдуньей. Маринка соглашается превратить богатыря обратно в человека (из тура) при условии, если герой-вежа потом на ней женится. После женитьбы Добрыня, по условиям договора, не убивает молодую, но всего лишь «учит» ее. «Тушка-то твоя да мне-ка надобна / Да ноги-то твои мне не надобно: / С поганым Издолищем заплетались» (*СРФ № 30*). С этими словами вежа отрубает ей ноги. «Тушка-то нужна», но так как она обнималась и целовалась с поганым, долой идут руки, губы с носом... Саму «тушку» богатырь привязывает к дикому жеребцу и пускает по чистому полю.

Кровавую расправу К. Аксаков пытается объяснить следующим образом: «Такая строгая казнь, совершенная с полным спокойствием Добрынею, не может служить определением его нравственного образа и кидать на него тень обвинения в жестокости. Это обычай всех богатырей того времени; будучи не личным делом, а обычаем, подобный поступок

лишен злобы и свирепости, вытекающих уже из личного ощущения. Где постоянно играют палицы, копья и стрелы, там главное дело подвиг, а жизнь становится делом второстепенным, и большого уважения к ней не оказывается» [там же, с. 15]. Дело, конечно, не в менее уважительном отношении к человеческой жизни, продиктованном жестокой порой. Маринка – колдунья и именно этим, в первую очередь, объясняются действия Добрыни. Ни о какой доброте, естественно, не может быть речи.

Мы сознательно уделили «жестокому» сюжету особое внимание, поскольку от него удобно перейти к рассмотрению не добрых, а вежливых поступков. В финале «Добрыни и Маринки» изображается именно вежливое поведение. В начальной ситуации герой поставлен в положение зависимости, потерял свободу (как и его предшественники – девять богатырей – превращен в тура). Чтобы достичь желанный результат, обрести свободу, герой должен предпринять подобающие действия. Условия диктуемые антиподом предельно ясны: будь женится или навеки останется туром. Добрыня находит уловку, такой способ, как, не преступив «велик завет», добиться своего. Выйдя замуж, Маринка должна повиноваться супругу, поэтому с покорностью на себе испытывает, «как мужья жен своих учат» (КД № 9). Иными словами, структура нарратива здесь очень близка, если не тождественна, структуре элементарного сюжета прозаического фольклора. Если герой ведет себя правильно, как надо, то достигает необходимый результат, в противном случае оказывается в том же самом или еще худшем положении. Добро или зло, красиво или не красиво, галантно или не совсем герой себя ведет – не суть важно.

Говоря о применении субстантива *невежа*, мы бегло касались сюжета «Добрыня и Дунай». Рассмотрим эту былинку подробнее в призме др.-рус. вежества. Напомним содержание. Вежливый герой в чистом поле наезжает на чужой шатер. Хозяина поблизости нет, зато оставлена надпись угрожающего характера: «Если кто к шатру приедет – живому тому не

бывать». Добрыня не знает, кто оставил самоуверенное предостережение, но поступить «по писаному» не может. Вежливый герой выпивает вино, ломает все, что попадет под руку, и на месте засыпает. Вернувшийся Дунай, соблюдая богатырский этикет, будит Добрыню и вступает с ним в поединок. Через какое-то время богатырей разнимает Илья Муромец. Начинается суд. Дунай возносит свое обвинение – все его имущество, заработанное тяжелой и многолетней службой, уничтожено. Предварительный вердикт звучит: «Ты за это, Добрыня, не прав будешь». Второй ответчик, Добрыня, апеллирует к неподобающей надписи (она оказывается «фальшивой»: нарушитель запрета все еще жив), аргументируя свой поступок словами: «Будем ли бояться угроз богатырских, / Незачем нам ездить поляковать». По окончательному вердикту – «Ты за это, Дунай, не прав будешь, / Ты зачем же ведь пишешь с угрозами?» – Дуная на несколько лет сажают в «темные погреба». Исполнитель былинного текста вплоть до самого конца держит читателя в уверенности, что ситуация до предела ясна. Неожиданная развязка оказывается художественно мотивированной. Изображается вежливое поведение. Несмотря на то, что симпатии слушателя сначала на стороне Дуная, а Добрыня ведет себя, казалось бы, агрессивно и некрасиво, в конечном итоге оказывается, что именно он вел себя правильно.

В том же ключе можно рассматривать и другие былинные сюжеты, как хрестоматийные (напр., «Сорок калик со каликою»), так и менее известные, где Добрыня фигурирует на втором плане. Анализируя вежливые, подобающие поступки, необходимо, с одной стороны, руководствоваться вопросом, почему герой-вежа поступает именно так, с другой, задуматься над гипотетичным течением сюжета, допустив на мгновение, что Добрыня поступил как-то иначе.

В «Илье Муромце и Сокольнике» богатыри стоят на заставе, когда на них наезжает *нахваляничек*. Большую ценность для анализа представляет обонежско-каргопольская версия сюжета. Остановимся

подробнее на кенозерских записях, доносящих, как нам представляется, более архаичную обработку сюжета¹⁸. Песни (*Гильф*. №№ 219, 226, 233 и др.) начинаются с того, что к шатру подлетает *вещая* птица. Илья Муромец чувствует неладное, посылает *вежливого* Добрыню разузнать о происходящем (о паре *вещий-вежливый* была речь выше.): «Ставай-ка, Добрынюшка Микитьевич! / Да что у нас над белым шатром да сделалось? / Налетела вещая птица у нас чёрный вран, / Жалобнёшенько да он покрикиват, / Видно сказывает он весточку нерадостну» (*Гильф*. № 226). Добрыня видит в поле «поляницу удалую». Илья посылает Добрыню на бой, но тот отказывается (!):

Говорит Илья Добрыни таково слово:
 – Да ты мóлодец Добрынюшка Микитьевич!
 Поезжай-ко тéперь за богáтырем.
 Да буде русской богатырь – побратайся,
 А неверной богатырь – ты войны проси.
 Говори Добрыня Ильи таково слово:
 – Ты де батюшка да Илья Муромец!
 Я не смею-де ехать за богатырем.
 Говорит Илья Добрыни таково слово:
 – Когда не смеешь ты ехать за богатырем,
 Дак больше мне в товарищи не надобно.
 Поезжай-ко назад ты во Киев град,
 К молодой-то жены, да к своей матери.
 (*Гильф*. № 219)

Безусловный интерес представляет отказ «съехаться» с неизвестной поляницей. Для русского эпоса это не характерно: богатыри не уклоняются от опасности, младший всегда слушается старшего. Поведение героя, казалось бы, не укладывается в рамки былинного этикета.

¹⁸ Для стабильной архангельско-беломорской версии сюжета характерна «порча» вежливого образа. Добрыня здесь открытое высмеивается: «Да снимал он Добрыню да со добра коня, / Да и дал он на жопу по отяпышку, / Да прибавил на жопу по алябышку, / Посадил он назад его на добра коня: / «Да поедь ты, скажи стару казаку – / Кабы што-де старой тобой заменяется, / Самому ему со мной ище делать нечево?»» (*СРФ* № 67). Вдогонку за Сокольников часто поочередно высылаются два богатыря: сначала невежа-Алеша, потом Добрыня. Первый ведет себя неучтиво, второй *оцестливо*. Использование сюжетной ситуации, знакомой нам по «Сорока каликам со каликою», нельзя признать удачной. Несмотря на соблюдение речезыкетных правил, вежливый герой испытывает ту же участь, что и Алеша. Более подробно о локальных модификациях сюжета см. – *Новиков* 2002, с. 128-129.

Отказ Добрыни обретает объяснение, когда узнаем, что «нахвальщиком» оказывается сын (или дочь) Ильи. Дело не в том, что Добрыня боится Сокольника. Добрыня побеждает Змея, Маринку, Невежу, с легкостью справляется с историческим врагом... По молодости Добрыня одолевает даже самого Илью («Поединок Добрыни Никитича с Ильей Муромцем»). В нашем случае Добрыня видит суть дела, знает, кто *должен* быть «супротивником» Сокольника:

А едет, робята, да не моя цета,
Не моя цета едет и не моя родня:
 А он едет от морюшка от синего,
 А от того от камешка от златыря,
 А от той де от бабы да от Златыгорки.
 (Григ. № 364)

Супротивником Сокольника должен быть Илья. Если бы Добрыня ввязался в бой и по обыкновению победил врага, возник бы новый конфликт, конфликт между Ильей и Добрыней, который вовсе не должен был бы закончиться миром. Иными словами, несмотря на презрительный, уничижительный отзыв Ильи («в товарищи не надобно», поезжай к жене-матери), действия Добрыни и здесь имеют свою «глубинную» мотивацию. В конце концов, именно они оказываются верными («принаехати надо да приакликати» и потом, исходя из этого, поступать)¹⁹.

Форму настоящего апофеоза, апофеоза вежливых поступков, приобретает чрезвычайно популярная старина «Добрыня и Алеша». Диапазон композиционных вариаций в случае с данным произведением, по наблюдениям Ю.А. Новикова, чрезвычайно широк: «В Кижках, Повенце, на Пудогге, Кенозере, Мезени, в Белозерском крае, Нижегородской губернии,

¹⁹ По мнению В.Я. Проппа, сюжет о наезде Сокольника возникает на базе «противоречия двух эпох, а именно – эпохи материнского рода и эпохи рода отцовского» [Пропп 1999, с. 264]. Сокольник рожден в экзогамном браке: «жена не принадлежит к роду мужа...; брачное сожителство протекает на территории, принадлежащей роду жены...; сын принадлежит роду матери и не знает, кто его отец...; брак этот временный: муж покидает жену... Однако условия материнского права вступают в противоречие с нормами позднейшего уже моногамного брака отцовского рода» [там же, с. 264-265]. Может поэтому в былинах задействован Добрыня – герой, соотносимый с порой материнского пава (женская родня Добрыни – см. выше). Примечательно, что Илья отсылает Добрыню в Киев, именно к жене и матери.

Западной Сибири сложились местные версии и редакции этого сюжета, немало оригинальных элементов в тексте из сборника Кирши Данилова (КД № 21) и единственном свободном от книжного влияния печорском варианте (Онч. № 95). В некоторых регионах былина зафиксирована в нескольких редакциях, причем бытовали они и в замкнутых ареалах (среднемезенская редакция, пудожгорская редакция в Повенце, водлозерская редакция на Пудогге), и параллельно друг с другом на одной и той же территории (Кижы, Кенозеро, Купецкое озеро и устье Шалы на Пудогге). В приграничных селениях нередко записывались тексты, в которых переплетаются элементы соседних традиций» [Новиков 2000, с. 127].

Учитывая разветвленность сюжетных вариаций, приоткрывать завесу над историей текста и говорить о возможных проторедакциях не так просто. На помощь приходит славянский песенный фольклор, а именно – юнацкие песни, моравско-силезские, польские, болгарские, словенские баллады на тождественный сюжет («муж на свадьбе своей жены»).

Возвращение мужа ко дню свадьбы жены – один из излюбленных сюжетов мировой словесности. Мотив этот лежит в основе «Одиссеи», отчетливо прослеживается в народнопоэтическом творчестве славянских, германских, романских, тюркских народов. Помимо общей нарративной схемы в каждом конкретном случае проступают черты оригинально-местной обработки. Славянский извод не исключение – и он характеризуется неповторимым смысловым наполнением, особыми сюжетными ситуациями, своей лексикой и фразеологией. Помимо близкородственной сюжетной основы, о генетической близости славянского корпуса текстов свидетельствует сходная ономастическая база.

Старинное имя – *Добрыня* – исключительно стабильно. В украинской балладе (поэтико-типологический тождественной своему западнославянскому аналогу) на месте Добрыни фигурирует *Добрело*:

Та скочила-м через стòле.

- Жий, Ивасю, с кем ти мело,

Бо прїхау мїй дóбрêло.

[Смирнов 1966, с. 63-67]

В польских вариантах в вежливом амплуа действует пан Дабров. В подавляющем большинстве записей непонятное имя, как и следовало ожидать, приспособливается к польской ономастике. Встречаемые здесь формы (*pan Dąbrowa, pan z Dąbrowa, Dąbrowski...*), без сомнения, восходят к Добрыне.

Превращение Добрыни в Дубраву, своего рода Дубровского, вполне объяснимо. Западнославянская ономастика способна удивить куда более витиеватыми метаморфозами. Имя чешской княжны *Dobrava (Doubrava)*, дочери Болеслава I, типологически соответствует нашему Добрыне: «...senioris Bolizlavi duxerat sororen. Quae, sicut sonuit in nomine, appartuit veraciter in re. Dobrawa enim Sclavonice dicebatur, quod Teutonico sermone Vona interpretatur» [Kronika Thietmara... 1953, с. 219]. «Непонятное» имя княжны после супружества с Мнишкем I оказалось предметом нескончаемой модификации: *Dubrava, Dubravka, Dąbrówka, Dobrawka, Dobrochna*. Позднее от польских вариантов образовалась письменная чешская форма *Dubravka*. В XIV в. поляки отказываются от «богемизма» *Dubravka* и возвращаются к «исторической» форме *Dąbrówka*.

Далее на запад и юг следы вежи на уровне ономастики исчезают. В моравско-силезских балладах перед нами предстает *Severynek*, югославянских, словенских балладах – безымянный герой, в юнацких песнях место вежливого героя занимает отважный Марко.

Близкий, хотя ономастически и не настолько очевидный, «оттиск» былинного сюжета находим в литовском фольклоре. Имеем в виду песню балладного характера «*Oi tu sakal sakalėli*» (V 1507). Записи В. Кулвайтиса и А. Юшки повторяют ситуацию «у жива мужа жену берут». Так же как и

в русских былинах, в них акцентируется способ передачи плохой новости (в роли «курьера» выступает птица), скорое возвращение домой и перстень:

Ir atlēke raibas paukštelis
 Iš karaliaus žemės: ...
 «Sako tavo mergužėlę
 Rytoj` vinčiavosė“
 Pabalnokie berne mano
 Bėrajį žirgelį!
 Josiu aš ir pažiūrėti,
 Ar ji bus žiūpone...
 Kreipkis šianai, merguž mano,
 Štai tavo pirmasis!
 Atiduokie aukso žiedą,
 Kurį buvau davęs!».

(*Kulvaitis*, № 392)

В 1958 г. Карел и Зденка Горалковы высказали мнение, что «jihoslovanské paralely jsou západoslovanskému typu bližší než podání východoslovanské, ačkoliv bychom tu mohli vzhledem k zeměpisné situaci čekat opak» [Horálek - Horálková 1958, 158]. Таким образом, получалось, что восточнославянские тексты, наиболее «отдаленные» от источника, претерпели существенные инновации и каким-то образом «народились» от сухопарой баллады. Не разделяя такого взгляда, снова сопоставим доступные тексты, очертим иное возможное решение. Набор структурных элементов, общий для славянской обработки сюжета, приоткроет завесу секретности над последовательностью сюжетосложения. Сопоставление былин с близкородственными славянскими параллелями оказывается полезным для частичной «реставрации» вост.-сл. проторедакции.

Последовательность повествования в былинах, юнацких песнях, моравско-силезских, польских, болгарских, словенских балладах выглядит следующим образом:

1. Герой-воин вынужден спешно покинуть дом, молодую жену и служить королю/князю.

У южных, западных славян герой удаляется на следующий день после свадьбы, у восточных – время отъезда специально не оговаривается. В польских, моравско-силезских балладах героем нередко становится человек вполне мирный (*selsky synek, miasta synes*), которого король «записывает» на войну. В сербохорватских, болгарских песнях, былинах действие сосредотачивается вокруг богатыря (юнака, воина), который часто действует не по принуждению, а по собственному почину.

2. Перед отъездом передает жену на попечение матери. Эпизод последовательно воспроизводится в русских, польских, моравско-силезских, словенских песнях и, по доступным текстам, преимущественно игнорируется у сербов, хорватов, болгар.

3. Оставляет жене наказ ждать определенное количество лет, разрешает после окончания назначенного срока выйти замуж за кого пожелает. Ограничение в выборе жениха делается только в героико-эпических произведениях. В юнацких песнях жена Марка не смеет выходить за сердара Пилипа, былинный Добрыня завещает Настасье отказать Алеше Поповичу.

4. Возвращение героя в день новой свадьбы в песнях западных славян воспринимается как случайное совпадение. Добрыня Никитич, Марко Кралевич, как и персонаж многочисленных болгарских песен, чудесным образом предупреждаются и через огромные расстояния переносятся домой.

Марко Кралевич, как правило, появляется в образе нищего, у западных славян возвратившийся герой предстает путником, гостем. Исключение составляет, пожалуй, единственная серболужицкая запись, где фигурирует *pšosarik* «нищий, *žebřák*». Самая пестрая картина в былинах: герой предстает *кали́кой* (*mrzák-poutník*), *скоморохом* (*potulný komediant*), названным братом Добрыни, прохожим гостем...

5. *Узнавание героя происходит сначала матерью, затем женой.*

В польских, моравско-силезских песнях герой перед матерью совсем не таится, сразу же обращается к ней *tato moja, matko*. Главное внимание сосредотачивается исключительно на том, как, каким образом, при каких обстоятельствах жена (не мать!) узнает своего супруга. Мотив узнавания женой, в особенности у западных и восточных славян, образует «ядро» повествования.

Былинный герой, как случайное, стороннее лицо приходит к родной матери удостовериться в «невежливых» намерениях, забирает (иногда силой) одежду, гусли и незваным гостем, никем неузнанный является на свадебный пир. На данном этапе, в родном доме, узнавание или совсем отсутствует, или в некоторых вариантах происходит, как у Гомера, по родимым пятнам с той лишь разницей, что узнает не нянька, а мать.

В сербских, хорватских, болгарских песнях встречаются оба варианта, однако и здесь узнавание героя дома (матерью) чаще всего игнорируется, а в некоторых случаях родитель героя вовсе не фигурирует.

Узнавание женой сопровождается тремя важными обстоятельствами:

а. *Никем неузнанный муж играет и поет на свадебном пирушке.*

Слабее всего данный эпизод представлен в песнях западных славян. В них или вовсе не говорится об активном участие гостя в праздновании, или упоминается об этом вскользь: «Sbiraj, matko, zdroje moje, / Pujdu si hrac na vesele». Увеселение присутствующих гостей превращается здесь в общую причину, предлог для появления героя на свадьбе. В былинах и юнацких песнях, наоборот, можно узнать не только об игре, но и о том, что и как он исполняет. Именно игра на тамбуре/гуслиях, содержание песни помогают женам эпических героев узнать в чужаках супругов.

б. *Решающее знаковое значение выполняет брошенное в кубок с вином обручальное кольцо.* Данный мотив для всех славянских вариантов универсален.

с. *Узнавание сопровождается «осквернением столов».*

В песнях моравско-силезских, польских, у восточных славян жена, удостоверившись, что перед ней стоит *pierwszy* супруг, перескакивает через преграждающие путь столы и бросается к мужу. В южнославянских песнях, судя по известным текстам, об осквернении столов ничего не говорится.

Как видим, с одной стороны, встречаем тут черты, сближающие юнацкие песни с русским эпосом, одновременно немало таких элементов, которые встречаются исключительно в былинах и песнях западных славян и отсутствуют в эпосе южнославянском. Так, западные и восточные славяне, в отличие от сербов, хорватов, болгар, теснее связывают повествование с матерью героя: мать присматривает за оставшейся женой, к матери по своему возвращению герой прежде всего направляется. Действия жены в песнях восточных и западных славян изображаются последовательно, более развернуто, включая и узнавание мужа по перстню и осквернение столов.

Итак, мы вплотную подошли к внутренней логике развития сюжета на конкретной, славянской почве. К сожалению, данный аспект не был учтен в обстоятельном исследовании К. и З. Горалковых.

Народная песня, как и любой другой продукт художественного творчества, не исчерпывается занятной интригой или забавным сюжетом. В «бродячих» формах заключается разное содержательное наполнение, свой смысл, своя идея. По мере того, как идея, смысл песни утрачивают былую актуальность, разлагается и формальное выражение: исчезают звенья повествования, утрачиваются отдельные сюжетные ситуации, безвозвратно уходит прежняя фразеология и т.д. Сложный процесс демотивации формы наглядно проступает и в нашем случае.

Учитывая вежливую «стать» героя, правомерно допустить, что наиболее последовательно и художественно целостно сюжет представлен в фольклорной обработке восточных славян. Многочисленная по записи былина «Добрыня и Алеша», в основе которой лежит схема «муж на

свадьбе своей жены», повествует о свойствах эпического героя. Как *вежливый* культурный герой, он в разных ситуациях и в самых непростых положениях ведет себя по-особому, *вежливо*. Каждый его поступок глубоко осознан, поэтому и в плане выражения у песни нет «случайных» сцен.

Добрыня, за редким исключением, не рвется в поход. Так же как и западнославянского собрата, которого «записывают» на войну, его *высылают* на бой (герой даже плачется). Против своей воли удаляясь с богатырским поручением, Добрыня запрещает жене выходить замуж за Алешу, передает жену на попечение матери. Обыкновенно такой «наказ» объясняется тем, что Алеша – *бабий пересмешник* (*suknickář*) или же *названный брат* Добрыни. Тем не менее, эпический Алеша известен всем, как антипод Добрыни, как *невежа*. В песнях западных славян антиподом героя становится безымянный королевский слуга. Король же, как и кн. Владимир, всячески содействует невежливым намерениям новоявленного жениха.

Вежа сначала заезжает домой, убеждается в справедливости нерадостной вести у матери, под чей надзор когда-то передал супругу. В южнославянских преданиях Марко, как правило, сразу является на свадебный пир, чтобы без стороннего участия и без всякого промедления ускорить кровавую расправу. Для вежливого Добрыни такое развитие событий неприемлемо. В его поступках присутствует медлительность, сопровождаемая известным морализаторским началом. Перед ним ответ держит мать, долженствовавшая воспрепятствовать браку, и только после этого герой переходит к активным действиям. Ситуация возвращения к матери, обязательная для западных и восточных славян, таким образом, органически вытекает из духа, смысла баллады/былины, определяется опытом народа – *вежеством*.

Следующее звено повествования – игра «гусельщика» на свадьбе. Западнославянский двойник вежи заявляет: «Pujdu si hrac na vesele»,

однако, зачем же берет в руки *zdroje* – неизвестно. Смысловое наполнение поступок имеет в русском эпосе: своим пением исполнитель предупреждает разумных гостей и те успевают подобру-поздорову убраться восвояси до начала побоев. В некоторых редакциях сюжета жена (а потом и другие участники свадебного пира) узнают героя даже не по содержанию песен, а по самой манере игры (Григ. № 305 и др.).

Та же самая тенденция проступает и в других важных компонентах нарративного строя песни. Бросая в вино перстень, герой произносит *вежливую* формулу: «Выпьешь до дна – увидаешь доста! / А не выпьешь до дна – не увидишь добра» (*Агренева-Славянская*, с. 135), после осквернения столов надлежащим образом поучает супругу, сватов и неудачливого жениха: «Не скажи, моя Настасья Микулисьня; / Хоцёшь, Настасья, да ты кругом обойди» (*Григ.* № 73), «У бабы волос долог, да ум короток, / Муж в лес по дрова, баба и замуж пошла. / Не виню тебя, молода жена, / А виню Алешеньку Поповича: / Зачем у жива мужа жену берет, / А князя Владимира – зачем сватает» (*Гильф.* № 145), «Не дивуюсь я да уму женскому, / А дивуюсь я да уму мужьскому - / У жива мужа да жену отняли!» (ДиА № 61) и т.д.

Подробности, связанные с узнаванием героя, в восточнославянской ветви сюжета органически дополняют образ вежи [Лемешкин 2003а, с. 113-121]. Все поступки, слова Добрыни, вся его поза, в которой он перед нами предстает, глубоко осознаны. Его действия, по сравнению с другими богатырями, более осторожны, осмыслены, осмотрительны, медлительны, последовательны и предсказуемы. Иными словами, *Добрыня*, согласно смысловому наполнению своего имени, ведет себя *подобающе*. Мотив «муж на свадьбе своей жены», благодаря множеству сюжетных ситуаций, предоставляет простор для его воспевания. Тем самым песня становится своеобразной одой, похвалой вежеству, т.е. правильному, подобающему поведению. В иных славянских текстах «характер» героя уже не соблюдается, логика повествования просматривается слабо, отдельные

звенья вежливых поступков полностью выпадают или сильно варьируются.

Подводя итог сказанному, позволим не согласиться с мнением К. и З. Горалковых. В поэтико-типологическом отношении бóльшая близость просматривается между западнославянской и восточнославянской редакцией сюжета. Важные звенья славянского извода (приход к матери, перстень, осквернение столов и т.д.) в песнях южных славян факультативны или же совсем отсутствуют. Южная разноголосица, как вполне справедливо отметили чешские ученые, определяется как западноевропейскими образцами, так и балканскими, византийскими, а через Османский султанат – восточными редакциями бродячего сюжета.

Необходимо признать, что любой поиск географической «прародины» не может быть успешным. Бесполезно анализировать, с какой стороны света и какими ветрами на славянскую почву занесено сюжетное зерно, важно установить, где и когда семя пустило корни, «пошло в рост» и дало цвет. Опыт нашей спецификации, в определенном смысле слова, – характерологический. «В определенном» потому, что применительно к фольклору и древней литературе трудно использовать литературоведческий термин «художественный характер». В русском эпосе (конкретно, при изображении богатырской «статии») мы вправе видеть только его зародыш: герой обладает определенными качествами, свойствами > эти качества определяют развитие сюжета.

Представим на месте Добрыни другого богатыря – и мы сразу должны будем перестроить сюжет под нового хозяина. Илья Муромец, этот русский образец Ахиллеса, полагаясь на бессмертность, вступил бы в лобовое столкновение с обманщиком; напуском смелый Алеша Попович, поставленный в то же положение, постарался бы остаться незамеченным и, следуя примеру Одиссея, т.е. дождавшись удобного момента, уничтожил бы соперника и т.д. Чем внимательнее рассматриваем былевую песню, тем больше убеждаемся в том, что форма сюжета в том виде, в каком он нам

известен, «сшита» для вежливого Добрыни и выглядела бы иначе, если бы на его месте фигурировал кто-либо иной.

Вежливая трактовка сюжета побуждает к предположению, что на определенном этапе категория вежества представляла интерес и художественную значимость для других славянских народов. На этой основе могло произойти распространение произведения на запад (можно, конечно, рассматривать западнославянские баллады и как механический отпечаток уходящей в небытие эпической традиции на Украине). Поверить этому нелегко, но, учитывая богатый литовский материал (о котором пойдет речь во второй части исследования), полностью этим пренебрегать мы не в праве. Лексические заимствования из др.-рус. языка со всей определенностью показывают, что вежливый «характер» в период до XIII в. представлял значительный интерес для литовцев и карел. Какова заслуга фольклора в распространение категории вежества, судить не беремся. В качестве любопытного свидетельства укажем лишь на верхненемецкую поэму «Ортнит» и скандинавские саги о Тидреке Бернском XIII в., где изображается некий «король из дикой Руси» (*der künec von wilden Riuzen*). Он, как и легендарный Добрыня, становится родственником кн. Владимира, отыскивает для него невесту и, что имеет для нас первостепенное значение, наделяется качествами вежи: *er sa friðr matðr ok kurtæislaigr, kurteisligr* «муж красивый, мирный и приветливый, вежественный», *er rikr matðr ok mikill kappe* «великий властитель и могучий витязь» [Bertelsen 1905, гл. 25] и т.д.

Пример «Добрыни и Алеши» показывает, что категория вежества может организовывать, заранее предопределять ход повествования, т.е., по сути, выполнять сюжетообразующую функцию. В качестве дополнительного аргумента приведем разбор еще двух эпических песен, сопоставим, как идея вежества реализуется в киевской былине «**Илья Муромец в ссоре с князем Владимиром**» и новгородской песне о Василии Буслаеве. В первом произведении Добрыня выступает как

фоновое лицо, во втором даже не упоминается. Первая песня повествует о том, как старший из русских богатырей вступил в острый конфликт с князем. Бунт Ильи изображается как нечто стихийное и потому ужасающее. Никто из окружения Владимира не смеет перечить бессмертному герою, все боятся его богатырского разгула. Не весело видеть свое будущее и сам «солнышко Владимир-князь» до тех пор, пока не посылает к Илье Добрыню. Последний за дело примирения берется, как и следовало ожидать, вежливо. Явившись к Илье, он не излагает волю князя, а заводит, казалось бы, неуместные речи. Добрыня говорит об их былой встрече, напоминает, что они – названные братья. После такого зачина Илья смягчен и прямо признается, что не напомни он этого, был бы Добрыня убит на месте. Та же самая участь постигла бы и Владимира:

Как говорит Илья тут таково слово:
 – Ай же ты князь столё-киевской!
А знал-то послать кого меня позвать,
А послал-то братца ко мне ты крестоваго,
А того-то мни Добрынюшка Никитича.
 Кабы-то мни да ведь не братец был,
 А некого-то я бы не послу́хал zde,
 А скоро натянул бы я свой тугой лук,
 Да клал бы я стрелочку каленую,
 Да стрелил бы ти в гридню во столовую,
 А я убил бы тя князя со княгиною.

(Гильф. № 47)

Мотивация произошедшего предельно ясна. «Крестовый брат паче родного», а значит, расправа с «послом доброй воли» в данной ситуации была бы равносильна братоубийству. Вежество, вежливое поведение при этом заключается в умении сказать подобающе подобающее, т.е. напомнить разгоряченному богатырю о свойственном родстве. Невежам *такой* способ обуздания Ильи просто не приходит в голову, и именно в этом заключается качественное отличие Добрыни. Чтобы не пролить кровь названного брата, теперь уже кроткий Илья спускается в глубокие погреба,

где по собственной воле сидит в заточении. Так Добрыня разрешает, казалось бы, безвыходную ситуацию, улаживает опасное положение так, что и «овцы целы, и волки сыты». Балансируя между властным Владимиром и гневливым Ильей, Добрыня находит такой способ, как, не попав под горячую руку «старого», удовлетворить волю князя.

Проблему социального бунта поднимает еще одна былина – «**Василий Буслаев и новгородцы**». Здесь выделяем тождественный элементарный сюжет. Властью, теперь уже Великим Новгородом, на усмирение разбуянившегося Василия высылается его крестный отец. Богатырь-Пилигримище принимается за свою миротворческую миссию совсем не так, как это делал вежливый Добрыня. Угрозы и ругательства, язвительные насмешки над молодым богатырем в итоге провоцируют отцеубийство. Начальная ситуация та же самая: бунт; конфликт должен разрешиться усилиями посла-усмирителя; к разгоряченному герою высылается посредник-усмиритель, связанный с «буяном» узами свойственного родства. Добрыня и Пилигримище в том же самом положении ведут себя по-разному: вежливо и невежливо, подобающе и неподобающе. Первый находит, что сказать и как поступить, второй, несмотря на более тесные узы родства, гибнет сам, а своим невежеством предрекает конец и новгородского бунтаря. На первый взгляд кажется, что песни независимо друг от друга отражают «поэзию бунта» (ссора разгорается с властью предержавшими: кн. Владимиром, новгородскими «старостами»; подробно описывается загул, «коалиция» бунтаря с голью кабацкой). При ближайшем рассмотрении оказывается, что когда-то они были теснейшим образом взаимообусловлены, как на уровне нарратива, так и в идейно-содержательном плане (идея вежества). Один текст был досконально «списан», сотворен по образцу другого. Отличие новгородского варианта заключается в том, что в рамках тождественного элементарного сюжета неподобающие действия приводят к трагическому результату. Таким образом появились на свет два «извода» того же самого

нарратива. Предметом воспевания являлся не Илья Муромец и не Великий Новгород/Василий Буслаев, как принято думать, а др.-рус. вежество, т.е. умение поступать правильно-подобающе.

Перечень «зеркальных повествовательных конструкций», базирующихся на категории вежества, этим не ограничивается. Не исключено, что на том же самом принципе построены старины «Добрыня и Змей» и «Алеша Попович и Тугарин-змей». Можно предположить, что повествовательно-ситуативная база и здесь когда-то была общей: Добрыня обходился с противником вежливо, Алеша – невежливо. Логически-последовательно события излагаются в «Добрыне и Змее»: после первого столкновения Добрыня заключает со Змеем договор, становится его названным братом; Змей нарушает условия договора, и только после этого и из-за этого Добрыня его убивает. Действия Алеши скоропалительны (именно эта скоропалительность по сравнению с неспешными и продуманными действиями Добрыни первоначально и составляла предмет песни). Если произведение действительно возникло «с оглядкой» на Добрыню, то этим объясняется повествовательная неувязка (у КД) – своим напуском Алеша одолевает того же самого противника дважды: на дороге в Киев и потом в самом Киеве. Такая нелогичность могла появиться в результате сознательного противопоставления действий вежи, с одной стороны, и его антипода, с другой. Комбинация неправильной, а затем вежливой модели поведения часто встречается в пределах того же самого сюжета. Кроме упомянутой выше старины «Илья Муромец и Сокольник» см. хрестоматийно известный сюжет «Сорок калик со каликою» и др.

Выводы

Итак, вежество – интегрирующая категория русского эпоса. Система координат *свой – чужой* во всех конкретных проявлениях (племя, род, народ, язык, вера, сообщество, сословие и т.п.) далеко не полностью охватывает космос русских былин. В данной плоскости выявляются

отношения между эпическим врагом и защитником. Без учета остается мир внутренний, «внутрикорпоративные» отношения и связи. «Корпоративное», т.е. по отношению друг к другу, поведение богатырей *внешне* регламентируется идеологией раннефеодального общества. «Младшие» герои, так же как и удельные князья, должны повиноваться старшим, а «старой», т.е. Илья Муромец, в свой черед – не помыкать молодыми. По мере того, как позиции Ильи в русском эпосе укреплялись (а это происходит параллельно с распространением средневекового удельного послушания), отношения богатырей друг с другом нейтрализовались. Зачем акцентировать внутренние, множественные и противоречивые связи, если жизнь в Древней Руси строится на качественно ином, иерархическом начале? Илья/кн. Владимир и младшие богатыри; «старший» и «младший» названный брат – такова общая схема взаимоотношений (или, точнее, взаимоподчинения) русских эпических героев. Иерархия княжеская и богатырская в реальной истории и эпосе ставятся во главу угла. Становится понятным, почему отношения богатырей между собой (неиерархические, «горизонтальные») не специфицируются и не развиваются.

Несмотря на видимое доминирование средневековой идеологии, русские былины все же сохранили архаичную оппозицию, не потерявшую актуальность вплоть до XX столетия. Имеем в виду оппозицию *вежа-невежа*. На основании рассмотренных примеров позволим предположить, что вежество на определенном этапе развития представляло альфу и омегу русского эпоса. Актуальность вежливой «статии» приводит к тому, что создаются особые, вежливые обработки бродячих сюжетов, складываются старины, повествующие о вежливых, т.е. подобающих, поступках, о столкновениях Добрыни с другими персонажами (невежами). Герою нет нужды шаркать ногой и раздавать пардоны – вежество никак не связано с куртуазностью, галантностью, обходительностью. При необходимости герой-вежа бывает груб, дерзок, может пролить ни в чем неповинную

кровь, слезить отцов-матерей, вдовить молодых жен, сиротит детушек (см. плач Добрыни, напр., *Рыбн.* № 26). По ходу исполнения песни наши симпатии иногда находятся на стороне его противника (Дунай), однако в конечном результате оказывается, что поведение Добрыни с самого начало было мотивированным, осознанным и единственно верным.

Герой-вежа преследует конкретную цель. Эта цель может быть задана сверху, князем Владимиром, может исходить от самого богатыря. Чтобы достичь, выполнить намеченное (не важно собою или кем-то другим), герой вынужден вступить в конфронтацию, ущемить или нарушить чьи-либо права и претензии. В отличие от невеж, действующих по первому импульсу, по наитию, герой-вежа способен укротить порывы своей натуры, поступить хладнокровно, с тонким расчетом. В сложной и, казалось бы, безвыходной ситуации герой всегда находит лазейку, принимает взвешенное решение, с которым все соглашаются, нравится оно им или нет. Иными словами, гордиев узел людских отношений вежливый герой в состоянии расплести, не разрубить.

По заранее заданному молодецкому шаблону герои русского эпоса верхом перескакивают городскую стену; не спрашиваясь приворотников, входят в «палаты белокаменны»; на пиру, выпив «ни много ни мало, полтора ведра», хвастают, а затем стремятся выполнить обещанное; не умерщвляют спящего противника; расспрашивают об «отчине» поверженного соперника и т.д. Богатырь по роду занятий обязан поступать не так как все, а по-особому, по-богатырски. «Богатырский этикет», особые правила повседневно-бытового молодечества хорошо знакомы и эпосам других народов. Специфика русского эпоса заключается в том, что здесь универсальная героизация причудливым образом переплетается с национально-местной категорией – категорией вежества.

Главным фактором в реализации героического этикета выступает «похвальба». Былины с сюжетообразующим повествовательным звеном *похвальбы*, где своеобразной мотивацией действия является формула «не

честь-хвала молодецкая», занимают в эпических песнях главенствующее место: «Садко», «Василий Буслаев», «Бой Добрыни и Дуная», «Илья Муромец и голи кабацкие», «Дюк Степанович», «Ставр», «Иван Гостиный сын» и т.д. Иное дело тексты, повествующие о вежливом герое. Несмотря на их многочисленность, песням о Добрыне он (мотив похвальбы) известен чрезвычайно мало! Герой-вежа вообще редко когда хвастает. Службу на него «накидывают», в других случаях (в ситуации, когда «большой тулится за среднего, средний за меньшего, а от меньшего и ответу нет») вежа вынужденно идет на «службу великую», понимая, что при его бездействии может разразиться беда.

Как можно понять по некоторым текстам, вежа-Добрыня тяготится воинскими обязательствами. Героический этикет, распространяемый на него в равной мере, подчас вступает в противоречие с характером вежи. Героический этикет, являясь своеобразным кодексом чести, требует соблюдения ряда формальных действий, тогда как поступки вежи обуславливаются соображениями более утонченного порядка.

Загадка небывалой популярности и живучести вежливого героя кроется в далеком прошлом. Вежество русского эпоса – категория исторически изменчивая. «Слоевой состав» русских былин предполагает «снятие последовательных пластов, наложенных на сюжет временем». Легче всего отделить позднейшие наслоения, аномальные инновации «нового времени»: сказители начали робко связывать вежество с образованностью, модой, достоянием и завоеванием дворянства (например, «у Добрынюшки ухваточка дворянская» – *Григ.* № 129). Добрыню обучают иностранным языкам, одевают в кафтан, вооружают огнестрельным оружием и т.д. Преграда прорвалась, в традиционный образ вежи хлынула современность. *Невежа* стал обозначать «неуча», *вежа* – «человека образованного, начитанного» и т.д. Былинный «перфект», т.е. понимание категории вежества как правильности, разумной обоснованности, необходимости подобающего действия, стал интенсивно

вытесняться новой конструкцией. Веяния нового времени проникли в эпические песни, но корни там так и не пустили.

Кроме «перфекта» (способность поступать, подобающе, как надо) в былинах лицезримо присутствует и «плюсквамперфект», т.е. реликтовые воззрения о вежливых/вещих героях.

ЧАСТЬ II. КАТЕГОРИЯ *VIEŽLYVUMAS* (< ДР.-РУС. ВѢЖЕСТВО) В ЛИТОВСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ

В предшествующей части мы рассмотрели «поведение» категории вежества в домашней обстановке, т.е. вост.-сл. письменной и устной традициях. Особую помощь нам оказали героико-эпические произведения русского фольклора, законсервировавшие в себе многие древне-архаичные представления о вежестве и вежливом герое. Русские старины показывают, что вежество у восточных славян принадлежало к излюбленным предметам воспевания (в архаическом и государственном эпосах). По сравнению с «живыми отголосками древности», т.е. былинами, письменные памятники и современный язык показывают качественно иное состояние. Вежество здесь значительно модифицировано.

В былинах качество вежливого героя – вежество – закрепляется исключительно «за своими», точнее за своим Добрыней. Согласно эпическим песням, чужаки не могут быть носителями данной характеристики, однако, как это не парадоксально, др.-рус. вежество нашло отклик в «Литве поганой», т.е. на территории былинных невеж. Еще длительное время после того, как были сложены песни о веже-Добрыне, категория вежества, оформленная в виде лексического заимствования, у литовцев пользовалась неожиданно большим спросом и славой. Др.-рус. категория нашла применение в фольклоре и живом языке. Особо почетное место вежеству было уделено в древней литовской литературе, начиная с самых первых памятников письменности и заканчивая «новой» литературой. Благодаря своей востребованности, рассматриваемая категория справилась с волной языкового пуризма рубежа XVII-XVIII вв. Форму настоящего апофеоза категория *viežlyvumas* приобретает под пером классика литовской литературы, Кристионаса Донелайтиса.

Востонославизм, несмотря ни на что, продолжает быть чрезвычайно актуальным и «знаковым» для литовской культуры и на сегодняшний день. Да, категория *viežlyvumas* сейчас безвозвратно уходит из активного языкового употребления (сохранилась лишь в диалектах), но ее история настолько глубока и богата, что знания о вежестве по инерции, теперь уже благодаря школе, передаются все новым и новым поколениям. Занимаясь творчеством К. Донелайтиса, учащиеся неизбежно знакомятся и с его героями: вежливыми (*viežlybieji*) и невежами (*nenaudėliai*).

Богатство лексических контактов с самого начала и до современной стадии языковых взаимодействий славянских и балтийских языков впечатляет, но даже и на этом фоне лексико-семантическая категория *viežlyvumas* явно выделяется. За прошедшее тысячелетие было бы трудно найти другое лексическое заимствование, которое бы так органично вписывалось в древний литовский язык, переплетало письменность, литературное творчество и, в конечном итоге, «организовывало» литовскую культуру. История категории *viežlyvumas* – это не только и не столько ретроспекция соответствующей др.-рус. категории, сколько ее несостоявшееся будущее, будущее, которому по каким-то причинам было не суждено настать «на родине». Иными словами, не будет преувеличением сказать, что лит. категория *viežlyvumas* – это древнее вост.-сл. *вѣжество* в развитии.

Глава 1. Время заимствования

Др.-рус. *вѣжливый*, *вѣжество*, *вѣжливо* соответствуют лит. *viežlybas*, *viežlybumas*, *viežlybai*. Главным фактором при определении времени заимствования для нас является фонетическая строй литовских соответствий, который напрямую обусловлен фонетическими процессами, происходившими в древнерусском языке-источнике.

Со времен К. Буги принято считать, что лит. дифтонг *ie*, появляющийся на месте др.-рус. *ě*, характеризует самый древний слой славизмов [Buga 1958, с. 344], таких как *biednas, viera, svietas, griekas, išliečijimas, miera, susiedas* и т.д. Фонетический строй лексемы *viežlybas* (< *viežlyvas*) лучше всего свидетельствует о том, когда произошло заимствование.

Нижнюю временную планку очертить достаточно сложно. Единственное на что можно ориентироваться – это процесс сужения древнего вост.-балт. дифтонга *ie* (и.-е. $*ei > \bar{e} >$ лит., латыш. *ie*, др.-прус. *ei*; лит. *dievas*, латыш. *dievs*, др.-прус. *deiws*). В литовских диалектах, как известно, он сохранился только у аукштайтов. В жемайтских говорах он дал: \bar{i} (\bar{i}^i) – *dūnininkai*; \bar{e} – *dounininkai*; \bar{e} – *donininkai*. В заимствованных словах, к которым принадлежит рассматриваемая нами лексема, дифтонг *ie* не изменяется, не знает территориальных вариантов $\bar{i}/\bar{e}/\bar{e}$. Это, возможно, свидетельствует о том, что заимствование произошло после обнаружения в древнелитовских диалектах склонности к монофтонгизации *ie*. В противном случае реликты «ятя», совпавшего в литовском языке с дифтонгом *ie*, были более многочисленны и напрямую зависели от фонетических процессов, по-разному протекавших в конкретных диалектах. К сожалению, конкретную временную границу установить невозможно, так как до сих пор остается неясным, когда же началось данное важнейшее для балтийских языков отличие в системе вокализма. З. Зинкявичюс по этому поводу пишет: «Pakitimų laiką nustatyti nelengva, ypač *u̯, i̯* atsiradimą, kuris galėjo būti gana ankstyvas. Akūtinių galūnių trumpėjimo, kuris baigėsi apie XIV a., epochoje žemaičiai dar turėjo tarti *u̯, i̯* (\bar{u}^i, i^i ?), bet ne *ou, ei* (šie nebūtų sutrumpėję) ar \bar{u}, \bar{i} (tuo atveju *uo, ie* ir \bar{u}, y refleksai būtų sutarę)»²⁰ [Zinkevičius 1987, с. 257].

²⁰ Перевод: «Время изменения установить нелегко, особенно появление *u̯, i̯*, которое могло быть достаточно ранним. В эпоху редукции окончаний винительного падежа, которая закончилась

Что касается верхней временной границы, то здесь возможно выделить конкретный хронологический рубеж, после которого заимствование было уже невозможным. Прилагательное *viežlyvas* появилось в литовском языке еще до того, как противопоставление фонем /ė/ и /e/ нейтрализовалось в пользу /e/. Традиционно, еще со времен А.И. Соболевского, начало процесса нейтрализации связывают с XII-XIII вв. Это подтверждают и современные исследования.

Как особая фонологическая единица *ě* наиболее устойчиво удерживалась в подударной позиции в положении перед твердой согласной. Перед мягким согласных под ударением изменение аллофона <ě> оказывалось обусловленным воздействием предшествующего и последующего согласного. Исходя из этого, выстраивают позиционную иерархию: на высшей ступени <ě> более устойчива, лучше сохраняет свои качества, в других, низших позициях быстрее преобразуется, а при письме *ѣ* чаще замещается другим графемами. Последовательность позиций (от сильной к слабой) такая: положение под ударением перед твердым согласным > под ударением перед мягким согласным > под ударением в абсолютном конце слова > в безударном положении перед твердым согласным > в безударном положении перед мягким согласным > в безударном положении в абсолютном конце слова.

В нашем случае *ě* занимает позицию под ударением перед мягким согласным. Конечно, это не абсолютный конец слова, однако соседство с мягким согласным все же содействовало более быстрому процессу нейтрализации. В большинстве др.-рус. диалектов XII-XIII вв. фонема <ě> в сильной позиции все еще сохраняла отличие от других гласных фонем, входила в фонемный состав языка как самостоятельная единица, однако в других позициях полным ходом шел процесс смешения: «Фонема <ě> отчетливо противопоставлялась иным гласным фонемам в позиции под

приблизительно в XIV в., жемайтійцы должны были еще произносить *иц*, *іі* (*īⁱ*, *iⁱ* ?), а не *ои*, *еі* (они бы не редуцировались) или *й*, *ї* (в этом случае рефлексy *ио*, *іе* и *й*, *у* совпали бы)»

ударением перед твердым согласным, тогда как *в позиции перед мягким согласным уже в эту эпоху* (XII-XIII вв. – И.Л.) *в разных диалектах по-разному развивалась нейтрализация* аллофонов <e> и <ě>. В безударном же положении, возможно, также в разных диалектах по-разному, судьба <ě> оказалась общей с судьбой вообще безударного вокализма...» [Иванов 1995, с. 351].

Итак, процесс нейтрализации аллофонов <e> и <ě> (под ударением перед мягким согласным) происходил в большинстве диалектов как севера, так и юга Древней Руси уже в XII-XIII вв. Многочисленные древнерусские заимствования с *ě*, следовательно, должны были попасть в литовский язык еще до этого. Особенно обращает на себя внимание, что в северных диалектах смешение *ѣ* и *е* в слабых позициях происходило значительно раньше, чем в диалектах южных. Сохранившиеся Смоленские грамоты (1229, 1239) указывают, что «в безударных слогах <ě>, по-видимому, уже совпала с <e>, а в положении между мягкими согласными развилась нейтрализация этих двух фонем» [там же]. По сравнению с древнесмоленским диалектом новгородские памятники указывают качественно новую ступень нейтрализации. Судя по Новгородской кормчей, берестяным грамотам, с середины XII в. по вторую половину XIII в. полным ходом идет процесс изменения <ě> в <e>. В Лобковском прологе 1262 г. употребление *ѣ* и *е* во всех позициях было практически равнозначным, а значит фонема (!) *ě* в данном дошедшем до нас новгородском диалекте уже к середине XIII в. была окончательно утрачена. Лобковский пролог, в частности, фиксирует новое, этимологически необоснованное написание корня **věd-*: *ВЕЖЬ*, *ВЕЖА*.

Говоря о возможном др.-рус. диалекте-источнике бóльшее предпочтение, думается, стоит оказать восточным (ильменско-словенским) говорам Новгородской земли. В древнепсковском диалекте кривичского происхождения *ě* реализовалась в виде широкого монофтонга или

дифтонга с широким вторым компонентом, причем сочетания **tj*, **dj*, **sj*, **zj* либо еще сохраняли двухфонемный статус, либо дали звуки типа *t'*, *d'*, *s'*, *z'*. Исходя из этого, необходимо предположить, что заимствование не было севернокривичским. Корневая гласная в таком случае реализовывалась бы как звук типа открытого <a> (ср. карельск. *хювяжести* < *вѣжество*, фин. *määrä* < *мѣра*, *räähkä* < *грѣхъ* и т.д.), а на месте спиранты *ž* сохранилось бы **dj* или *d'* [Зализняк 1995, с. 45].

Локализации заимствования содействуют факты экстралингвистические. Новгород с XI века становится культурным и экономическим центром. Отсюда в разных направлениях торговой деятельности распространяются фольклорные сюжеты и мотивы. К Новгороду и новгородским торговым людям В. Ягич возводит сюжеты германских саг XIII в. (немецкая поэма Ломбардского цикла «Ортнит» и норвежская Тидрек-сага), в которых отчетливо прослеживаются эпические образы князя Владимира (Valldimar – король Ruzsiland) и Ильи Муромца (Ilias von Riuzen) [Ягич 1878, с. 216-221]. Тем же путем торгового и культурного кругообмена идея вежества и эпический вежливый герой могли попасть к балтам.

Итак, фонетический строй заимствования лит. *viežlyvumas*, карел. *хювяжести* (< *вѣжество*) показывает, что в литовский и карельский языки лексема была занесена еще до того, как противопоставление фонем /*ě*/ и /*e*/ нейтрализовалось в пользу /*e*/, т.е. ≈ до XIII в., иначе говоря, в период расцвета былины как жанра.

Глава 2. Словообразовательные реализации заимствования в литовском языке

Судя по деривационному гнезду, объединяющему производные слова, заимствованное прилагательное было чрезвычайно продуктивным. Рассматриваемая категория в памятниках древней письменности

приобрела много подобий. В современном литовском языке наряду с *viežlybas* существует более древняя форма с основой на *-v* *viežlyvas*. Морфемное строение слова, унаследованное из языка-источника нейтрализуется, и основа варваризма (русская основа + лит. флексия) далее обрастает всевозможными литовскими аффиксами. Словообразовательная парадигма обогащается за счет целого ряда формант, образующих субстантив: *viežlyvumas*, *viežlyvybė*, *viežlyvystė*, *viežlyvastis*. К основе *viežlyb-* в свою очередь восходят *viežlybimas*, *viežlybumas*, *viežlybysta*, *viežlybystė*, *viežlybastis*.

Приведенными примерами перечень далеко не ограничивается. Сюда же относятся: наречия *viežlybai*, *viežlyvai*, *viežlyva*, глаголы *viežlybautis* (*apsiviežlybauti*, *nusiviežlybauti*), *viežlybuoti* (*apsiviežlybuoti*, *nusiviežlybuoti*, *paviežlybuoti*), *viežėtis*.

Концовки *-umas*, *-ysta*, *-ystė*, *-astis*, *-ybė* образуют имена со значением отвлеченного признака (*nomina qualitatis*); *-imas/-umas* – существительные образа действия (*nomina actionis*). Как средство реализации значения образа действия аффикс *-imas/-umas* был особенно продуктивным в XVI–XVII вв. По мнению С. Амбразаса, суффикс *-imas/-umas* долгое время не дифференцировался от слов с формантом на *-umas* [Ambrazas 1993, с. 24–25]. Обе формы функционировали как варианты одного и того же аффикса *-mas* (<*-*mo-*), присоединявшегося к основам на *-i* или *-u*, и лишь позднее, во времена самостоятельного исторического развития литовского языка, произошло разделение: суффикс *-imas* стал употребляться в именах собственных со значением образа действия, *-umas* – в существительных со значением отвлеченного признака.

Образование производных слов при помощи форманты *-imas* от основы существительного или прилагательного весьма древнее явление (*tėvainimas*, *bjaurimas*, *ramumas*, *silpnimas*, *sunkimas* и т.д.) Архаизм словообразовательной модели наглядно показывает пример, приведенный С. Амбразасом, – лит. *polymas* – «низкая, болотистая местность; большое

пространство леса или поля». Мотивирующего прилагательного в литовском уже нет, зато он сохранился в латышском языке – *pāls* (*pals*) «бледный», ср. латыш. *palumas* (*pālums*) – «пустое место, где ничто не растет». Производные с соответствующим суффиксом **-imo-*, образованные от прилагательного, встречаются в славянских языках, например: **bělmo* : **běľь*.

Суффикс *-ysta*, помимо др.-прус., получил широкое распространение в славянских языках (*речист*, *плечист* и т.д.); образовался от индоевропейского суффикса (прилагательного) **(s)to-/ta*. Сначала, в результате присоединения *-ysta(s)* к мотивирующей основе (чаще всего существительного) происходила адъективация (*kiaulỹstas* – «неучтивый», *ugnỹstas* – «горячий, быстрый, порывистый»), позднее производное слово субстантивировалось, становилось обозначением отвлеченного признака. В литовском языке данный процесс происходил в дописьменный период. В рукописях XVI-XVII вв. имена собственные на *-ysta* были уже достаточно редким явлением, так как их интенсивно стал вытеснять парадигматический вариант *-ystė* (*gailysta* – «сожаление, покаяние», *tikysta* – «вера», *našysta* – «мода; одежда», *priderystė* – «обязанность, приличие» и т.д.) *Viežlybysta* (<**viežlyvysta*), следовательно, более ранняя словообразовательная модель, которая последовательно к XVI-XVII вв. меняет свою форму на субстантивированное *viežlybystė*.

Формант *-astis*, употребляемый преимущественно в существительных со значением отвлеченного признака, К. Бругманн связывает с суффиксом *-estis*, который в свою очередь образовался из двух древних суффиксов **-es-* + **-ti-*. В славянских языках суффикс находит соответствие в форманте *-ostь* (*узость*, *годность* и т.д.) так же в значении отвлеченного признака. Русское *вежливость*, обнаруживаемое с XVIII в., такого же происхождения.

Последний формант *-ybė* со сравнительно-исторической точки зрения является парадигматическим вариантом суффикса *-yba*. В

современном литовском языке оба варианта образуют один из продуктивнейших словообразовательных типов. Однако в текстах XVI-XVII вв. обнаруживаем их всего лишь несколько. В литературном языке данные форманты распространились в конце XIX - начале XX вв. (*daryba*, *rašyba*, *lažyba* и т.д.), так что *viežlybystė* скорее всего достаточно позднее образование.

Глаголы *viežlybautis*, *viežlybuoti* образуются при участии формант *-autis*, *-uoti*. Между значением производного глагола и производящей основой существительного или прилагательного обычно просматривается тесная связь. В нашем случае глаголы употребляются в значении «чистить, начистить, убрать». Весьма непросто установить отношения мотивации между прилагательным *viežlyvas* и глаголом *viežėtis* (*viežisi*, *-ėjosi*) в значении «вести себя вежливо». С формальной и семантической точки зрения мотивированное слово распространяется за счет присоединения к производящей основе *-ėtis*. Тематический гласный и окончание примыкают непосредственно к конечному согласному этимологического корня. Однако сейчас нам ничего не известно о производящей основе *viež-*. Ясно только то, что производным стало не прилагательное *viežlyvas*, а иная, недошедшая до нас лексема. Какая именно, судить теперь трудно, в любом случае в семантическом отношении оно было тесно связано с прилагательным. Если в мотивирующей основе не было суффикса *-лив-*, то мы имеем дело с производящей основой не только литовского возвратного глагола, но и с основой, мотивирующей само древнерусское прилагательное *вѣжливъ*. Таковой могла быть основа др.-рус. *вѣжь* или *вѣжа*.

Итак, производные на *-ybė*, *-ystė* – поздние. Словообразовательные варианты *viežlyvumas*, *viežlyvastis* хронологически точно определить трудно. Оба суффикса были широко распространены как в древности, так и сейчас, а слова *viežlyvumas*, *viežlyvastis* в свою очередь могли появиться

как сразу после произошедшего заимствования, так и позднее по известному образцу. Глаголы *viežlybautis*, *viežlybuoti* судя по их семантике, скорее, позднее явление, никак не соотносимое со временем заимствования др.-рус. лексемы. И наоборот, глагол *viežėtis* появился тогда, когда др.-рус. категория только проникала в литовский язык. Кроме прилагательного балтам были известны другие компоненты рассматриваемой лексико-семантической категории. Позволим предположить, что это было др.-рус. вѣжа «вежливый человек». Последние две из рассмотренных нами формант, *-ysta*, *-imas*, похоже, относятся к дописьменному периоду литовского языка. Так же как глагол *viežėtis* они могут быть соотносимы с порой заимствования.

Словообразовательное гнездо с исторической перспективы можно представить в следующем несколько упрощенном виде:

		<i>viežlybimas</i> (nomina actionis)
<i>viežlyv(/b)as</i>	>	<i>viežlyv(/b)umas</i> (nomina qualitatis)
<i>viežlybas</i>	>	<i>viežlybysta</i> > <i>viežlybystė</i> (с XVI в.) (субстант. прилаг) (nomina qualitatis)
<i>viežlyv(/b)as</i>	>	<i>viežlyv(/b)astis</i> (nomina qualitatis)
<i>viežlyvas</i>	>	<i>viežlyvybė</i> (позднее, к. XIX – нач. XX в.) (nomina qualitatis)
* <i>viež-</i>	>	<i>viežėtis</i>
<i>viežlybas</i>	>	<i>viežlybuoti</i> ; <i>viežlybautis</i>
<i>viežlyv(/b)as</i>	>	<i>viežlyv(/b)ai</i> <i>viežlyva</i>

Исходя из вышесказанного, можно составить следующую картину. В период заимствования лексемы *вѣжливыз*, помимо славизма *viežlyvas* в лит.

языке были, по-видимому, и другие не дошедшие до нас слова, включавшие чистую непроедную основу плюс литовский формант. Именно от такой мотивирующей основы образовался глагол *viežėtis* «поступать вежливо, правильно». Полностью не субстантивированное *viežlybysta* (<**viežlyvystas*) отчасти дублировало ставшую чрезвычайно продуктивной основу прилагательного *viežlyvas*. Очевидно, сразу же словообразовательное гнездо пополнилось наречием *viežlyvai*, и деадъективированными существительными *viežlyvumas*, *viežlybimas* (<**viežlyvimas*).

Первое, *viežlyvumas* (*nomina qualitatis*), обозначало отвлеченный признак, свойство, семантически мотивировалось как «признак, определяемый наличием того, что названо мотивирующей основой прилагательного». Существительное со значением отвлеченного действия – **viežlyvimas* (*nomina actionis*) – должно было обозначать «поведение, соответствующее представлениям о правильных, подобающих, вежливых поступках».

Глава 3. Семантика заимствования

В литовской лексикографии значение прилагательного *viežlybas* принято обозначать описательным способом, а именно – перечислять ряд дифференциальных признаков: «*garbingas, doras, padorus*» [Kabelka 1964, с. 132], «*skaistus, nekaltas, doras, kuklus; garbingas; mandagus, kultūringas; švarus, tvarkingas; gražus*» [LKŽ 1999, с. 320-321].

Такой «перечислительный» способ обозначения обнаруживаем в первопечатном словаре К. Сирвидаса (1620), где рядом с литовской лексемой приводится длинный перечень латинских соответствий: «*vrbanus, ciuilis, item curicusus; mundus, cultus, comptus, dekorus, ornatus; bonestus, bonorabilis, bonorandus, venerandus*» [Pirmas lietuvių kalbos žodynas 1979, с. 337, 551]. Подобным образом поступали первые переводчики К. Донелайтиса на немецкий язык [Schleicher 1865, с. 323;

Nesselmann 1869, с. 361], терпеливо указывая в сопроводительном словаре множество дифференциальных качественных характеристик (ср. словарную статью у Е. Френкеля: *viežlybas/viežlyvas* – «ehrbär, ehrlich, herrlich, tapfer, vornehm, tugendsam, fromm, keusch, züchtig, rechtschaffen, anständig», *viežlyvystė* – «Ehrbarkeit, Tugend, Keuschheit, Anstand, Züchtigkeit» - Fraenkel 1965, с. 1247).

Тем же самым способом пользуются и современные носители языка. Во время диалектологических экспедиций приходится сталкиваться с описательным способом передачи лексического значения. Информант на просьбу определить, каким является вежливый человек, перечисляет множество характеристик, которым, по его мнению, должен отвечать вежа: «*teisingas, tvarkingas, geras, doras, negirtuoklis ir t.t.*» Кроме перечисленных характеристик опрашиваемый попытается дать общее определение. Вежливый это тот, кто *«правильно, как надо, живет и поступает, подобающим образом ведет себя»* (*kuris tinkamai, deramai elgėsi, gyvena kaip reikiant, kaip dera*). Примечательно, что для определения данного слова часто прибегают к помощи иного славизма, употребляют традиционную песенную формулу «*kuris turi rozumėlį*» или «*turi rozumą*» («у кого есть разум»).

Внутри языка-источника или родственной языковой системы лексико-семантические инновации обыкновенно пробегают быстрее и необратимее, чем в иноязычной обстановке. В русском языке значение прил. *вѣжливы* неоднократно менялось, в литовском же языке славизм *viežlyvas*, изначально лишившись всех возможных потенциальных сем, сохранил одно из первоначальных значений. Иноязычное окружение, таким образом, выступило как благоприятная среда для замедления лексико-семантических преобразований, сохранения древней семантики (ср. характер др. балтизмов в финском языке – К. Liukkonen).

Говоря о языке-источнике, можно выстроить следующую цепочку лексико-семантических инноваций: *видящий, знающий; вежливец-колдун*

→ поступающий подобающе, как надо (*kaip reikiant, tinkamai*) → галантный, соблюдающий правила приличия, этикета.

Как уже было отмечено, в самый древний период др.-рус. прилагательное обозначало колдуна, вост.-слав. ведьмака. Архисемой прилагательного выступала «форма чудесного видения, знания, познания, осведомленности». В лексико-семантическую группу родственных слов с тождественной архисемой входили: *вѣдь* «колдовство, чародейство, знахарство, чары», *вѣдьство* «колдовство, чародейство, знахарство», *вѣдоунъ* «знахарь, колдун», *вѣдьма* «знахарка, колдунья», *вѣжество* – «знание», *вѣжа* – «знающий человек», *вѣжливы* – «разумный, мудрый», *вѣщии* – «знающий, мудрый» и др.

Др.-рус. *вѣдь* «знание, колдовство» являлось центральным компонентом, по которому в древнейший период проводилось разграничение внутри рассматриваемой группы слов. О том, что понятия *колдовство* и *ведун* в русском языке связывались и отождествлялись с *вежеством* и *вежей*, свидетельствуют северные русские говоры. В пермских, сибирских, архангельских диалектах *вежливый* обозначало то же самое, что и *вѣжливец* – «почетное название колдуна» [СРНГ 1969, с. 95-96], в обязанности которого входило охранять свадьбу от порчи. Такое понимание вежливого героя было характерно догосударственному эпосу. В эпических текстах, рассмотренных нами в гл. 4-5 первой части предлагаемого исследования, находятся отчетливые реликты сверхъестественной природы вежливого героя.

На следующем этапе развития, которому соответствует государственный эпос, слово *вѣжливы* теряет архисему «чудесное знание», которая последовательно заменяется семой «упорядоченности». Упорядоченность понимается как поддержание существующих моделей правильного, подобающего поведения. Согласно своему новому имени

герой-вежа *Добрыня* поступает *подобающе*. Обоснованные поступки, упорядоченные действия вежливого героя выступают на первый план в эпоху кристаллизации былинного жанра, в XI-XII вв. Вежливый уже не тот, кто обладает острым, всевидящим зрением, не тот, кто типологически соответствует роли колдуна-вежливца, но такой герой, *который всегда и всюду, в самых непростых ситуациях поступает правильно, как надо, как подобает*.

Значения, свойственного категории **ВЕЖЕСТВО** на стадии догосударственного эпоса, в литовском языке мы не обнаруживаем. Литовская категория *viežlyvumas* типологически связана с вежеством Добрыни. Бросается в глаза одна отличительная особенность. Смысловый объем литовского славизма с человека распространяется на предметный мир. Еще относительно недавно, в XVII-XVIII вв., были в ходу такие словосочетания, как *viežlybas kūnas* (т.е. вежливое тело), *viežlybas stuomenis* (вежливое туловище), *viežlybas vardas* (вежливое имя), *viežlybos dainelės* (вежливые песенки), *viežlybiausi kapai* (вежливые могилы), *viežlyva vieta* (вежливое место), *viežlyvas rūbas* (вежливая одежда) и т.д. Когда же заимствование применялось для обозначения человека, то и здесь оно выступало в непривычном для русского языка смысловом окружении. Например, такие выражения, как *kūdikis nevižlybai gimęs* («ребенок невежливо рожденный» - Kuršaitis, 1874), *gyveno su vyru savuoju viežlyvai per septynelis metus* («жила со своим мужем вежливо семь лет» - Daukša, 1599) совсем не представимы в контексте лексико-семантической системы современного русского и др.-рус. языков.

Для большей наглядности приведем дополнительные примеры:

- a. *Duok būti viežlybu kūnu.* – Mažvydas, 1547. (Дай быть телом вежливым)

- Kūną savo viežlyvai vesk.* – Mažvydas, 1547. (Тело свое содержи в вежливости)
- b. *Jis tur viežlybą vardą tarp žmonių.* – Kuršaitis, 1874. (Среди людей у него вежливое имя)
- Kam viežlybą vardą pažeisti.* – F. Kuršaitis, 1843. (Зачем оскверняешь вежливое имя)
- c. *Viežlybą stuomenį turįs.* – Ruigis, 1800. (Имеющий вежливое туловище)
- d. *Tegul skamba ir laukeliai viežlyboms dainelėms.* – A. Vienažindys (1841-1892). (Пускай звучат и поля вежливыми песнями)
- e. *Pakask savo numirėlį mūsų geriausiuosu (viežlybiausiuosu) kapuosu.* – Bretkunas, 1590. (Закопай своего умершего на нашем вежливом кладбище)
- Viežlyvas palaidojimas ir saugojimas, ir grabo didis apveizdejimas.* – Daukantas, 1599. (Вежливое погребение и охрана, и великий досмотр на гроб)
- f. *Tu jen sėskis čia and viežlyvos vietas.* – Chylinskio Biblija, 1660. (Ты только садись сюда на вежливое место)
- g. *Tatai idant su didesniu noru dirbtumbim, dabočis turime, jog malda yra daiktas labai viežlyvas.* – Daukša, 1599. (Из-за того мы должны с великой охотой работать и охранять, что молитва – это очень вежливая вещь)
- h. *Teipag ir moterys kad rėdytųsi viežlyvu rūbu.* – Chylinskio Biblija, 1660. (Так и женщины что бы наряжались в вежливые одежды)
- Kas neapskrendęs, neapsileidęs, tas viežlybas.* – Литовский словарь А. Юшкевича, 1897. (Кто не грязен, не запущен, тот вежлив)
- Jijė viežlybai dėvi kas dieną.* – Литовский словарь А. Юшкевича, 1897. (Она вежливо одевается каждый день)
- i. *Jei akis tvardome, idant neveizdėtų ant niekniekių to pasaulio, ausis idant neklausytų žodžių neviežlybų..., tad neižagta yra širdis mūsų.* – Daukša,

1599. (Если глаза потупляем, чтобы не возмутится суетой этого мира, глаза что бы не слышать невежливых слов..., то не будет ранено сердце наше)

- j. *Turim Pono Dievo bijotiesi ir jį mylėti, idant **viežlyba** ir čystą zyvatą vestumbim* – Vilentas, 1882. (Должны Господа Бога бояться и любить его, что бы унаследовать вежливую и чистую жизнь)
- k. *Tu viežlyba moteriškė ant veido.* – Clavis Germanico-Lithvana, 1673-1701. (Судя по лицу ты вежливая женщина)
Tam žaliajam dvaraityje trys viežlybos mergaitės. – L. Rėzos dainos. (На том зеленом дворе три вежливые девушки)
Didi buvo viskupai, karaliai, ricieriai iš viežlyvų motinų. – Poška. (Были великие епископы, короли, рыцари от вежливых жен)
- l. ***Kunigai** šituo būdu **viežlybi**, ne dviliežuviai ir ne girtūklės tur būti* - Mažvydas, 1547. (Священники таким образом вежливые, не должны быть сплетниками и пьяницами)
- m. *Kūdikis **nevižlybai** gimęs.* – Kuršaitis, 1874. (Ребенок рожденный невежливо)
- n. *[Prancūzpalaikiai] **viežlybus** lietuvninkus išpeikt nesigėdi.* – Donelaitis. (Французишки вежливых крестьян не стыдятся выругать)
- o. ***Būk** teip linksmas kaip žuvis, čists, paklusnus, **viežlybs** vis.* – Kalvaitis, 1905. (Будь весел как рыба, чистый, послушный, все вежливый)
- p. *Rūpinkitės apie tai, **kas yra viežlyva** po visomis žmonėmis.* – Chylinskio Biblija, 1660. (Заботься о том, что вежливо среди людей)
- q. *Kaip dieną, teip **viežlyvai** vaikščiokime.* – Daukša, 1599. (Как день, так вежливо будем гулять)
- r. ***Gyveno** su vyru savoju **viežlyvai** per septynelis metus.* – Daukša, 1599. (Жила со своим мужем вежливо семь лет)
- s. *Nei vieno **viežlybo** plauko netur.* – J. Brodowskij, 1713-1744. (У него ни одного вежливого волоса)

Подобных случаев лексической сочетаемости мы не находим в памятниках древнерусской письменности, которые в большинстве своем ограничиваются семантико-синтаксической продуктивностью родственных древнеболгарских соответствий. Не беремся судить, была ли такая сочетаемость известна др.-рус. языку. Для нас сейчас это и не суть важно. Важно то, что в др.-лит. языке рассматриваемая категория использовалась еще более последовательнее, распространяясь с человека на предметный мир. *Вежливое кладбище* является таковым совсем не потому, что на нем ведут себя галантно, но потому, что оно организовано, как полагается, т.е., согласно представлениям литовцев, находится на горке, за каменной изгородью и т.д. Жена жила с мужем вежливо, т.е. подобающе, как надо, но потом что-то случилось: стал ее бить, запил, начал изменять... Люди рождаются в браке, т.е. вежливо, и «сокольниками»; одеваются в вежливые, т.е. подобающие одежды; к месту и ко времени поют определенные песни...

Глава 4. Категория *viežlyvumas* в литовском фольклоре и древних памятниках письменности

Восточнославянское заимствование получило широкое распространение в литовском фольклоре. В произведениях нарративно-прозаического характера категорию *viežlyvumas* найти пока не удалось. Это не значит, что примеров ее использования нет. Будучи неотъемлемой реалией истории языка, литовских диалектов, заимствованная лексема наверняка была в ходу. По логике вещей она должна фигурировать в записях XIX-XX вв. (далеко не все ведь изданы). Полагаем, что заимствованная лексема рано или поздно будет здесь обнаружена. Необходимо все же констатировать, что ко времени записи сказок, сказаний, легенд и пр. использование категории *viežlyvumas* носило уже спорадический характер, и поэтому прозаическому фольклору она известна мало или вовсе неизвестна.

Совсем иное дело – песенный фольклор. Ритмическая структура поддерживала использование традиционных элементов, уходящих из активного языкового употребления. Конкретный пример – широкое использование *dativus absolutus*: *vienas èmè uż rankelès, antras uż antrosios, o trečiam gailinčiam net širdelè plyšo* (Mžš), *ko man reikia mergužei esančiai* (JV 936) или латв. *lai meitai, lielai pieaugušai, līp puīši* (BW I 178) и т.д. Др.-рус. тексты, отражающие живую разговорную речь, его не знают. Напр., в корпусе 1043 берестяных грамот не засвидетельствовано ни одного подобного случая. Дательного самостоятельного мы не находим и в русских песнях. Соответственно, данные лингвофольклористики говорят в пользу того, что на русской почве данный оборот книжный, появившийся под влиянием переводного текста. В др.-лит. языке, судя по памятникам письменности, дательный самостоятельный был широко распространен. Только «Постилле» Й. Бреткунаса 1591 г. их насчитывается более 60 единиц²¹. В последующем свободный падеж выходит из употребления, но, несмотря ни на что, сохраняется в фольклоре, главным образом, в песнях, где его использование обуславливается ритмической организацией. Выражение «из песни слово не выбросишь» приобретает в нашем случае особое значение – действительно трудно выбросить то, что составляет саму структуру. Иными словами, язык песенного текста более статичен.

В том же ключе следует подходить и к категории *viežlyvumas*. Ее использование, вероятно, также продиктовано особенностями песенного языка. В перечисленных выше примерах два взяты из песен: *Būk teip linksmas kaip žuvis, čists, paklusnus, viežlybs vis.* – Kalvaitis, 1905 («Будь весел как рыба, чистый, послушный, все вежливый»); *Tam žaliajam dvaraityje trys viežlybos mergaitės.* – L. Rėza («На том зеленом дворе три вежливые девушки»). Очень часто в литовских песнях можно встретиться с устойчивой формулой хвалы и похвальной самооценки лирического

²¹ При переводе с немецкого ДС замещал придаточные конструкции на *da, als, wenn, weil* и т.д.; при переводе с польского – *gdę*. Переводческая деятельность, таким образом, никак не способствовала, а, наоборот, стесняла использование свободного падежа.

героя. Больше всех суперлативов ценился лаконический отзыв: *[ji] viežlybai auginta*, в значении «она была возвращена вежливо, т.е. так, как подобает».

Kai aš buvau maž' vaikelis,
Vygužės vygiavau.

Aš turėjau bėrą žirgą,
Aukso patkavėles.

Kai aš jojau per giružę,
Giružė garsėjo.

Ir paspyriau akmenėlį,
Ugnužė žėrėjo.

Ir pamačiau mergužėlę,
Balta bei raudoną.

Aš jai sakiau: labą rytą!
Ji man nei žodelį.

Aš jai daviau balta ranką,
Ji man nei pirštelį.

Aš jei kėliau kepurėlę,
Ji man nei vainiką.

„Ei tu mergyt', mergyt' mano,
Kuom' tu taip didžiuojies?

Ar su savo didžium turtu,
Ar su gražumėliu?‘

„Nei su savo didžiu turtu,
Tikt su savo jaunoms dienoms;

Aš nuo savo mamužėlės
Viežlybai augįta.

„Imčiau šimtą ir pusantrą,
Pirkčiau balto muilo,

Prausčiau savo mergužėlę,

Baltą bei raudonąš'

„Imčiau šimtą bei pusantrą,
Pirkčiau žalio muilo,

Prausčiau savo bernuželį,
Juodą kaip Cigoną“.

(*Kalvaitis* № 277)

Присутствие категории *viežlyvumas* в подобных фольклорных произведениях свидетельствует, кроме всего прочего, о древности и огромной популярности заимствования. Песни доносят до нас древнюю категорию, но их записи делались относительно недавно. Именно поэтому в ряде случаев древнее *viežlybas* заменено на *mandagus* в значении галантный, обходительный». Напр.:

Vaikščioja bernytis po čiepu sodelį,
Jis nešioja rankužėj' plieno pentinėl':

„Čiepus išlauščiau, o vyšnes išlankstyčiau,
Bile savo mergužę gaučiau pamatyt'!

Nėra nei gražesne, o nei mandresne,
Kai mano mergužė, vis baltai raudona.

Kuri yr' gražiausia, ta ir mandagiausia,
Tai tikrai aš sakau, bus mano mieliausia.

(*Kalvaitis* № 161)

Обратимся ныне к памятникам древнелитовской письменности.

Книжная реализация *viežlyvumas* по времени соотносима с порой зарождения литературы на литовском языке. Рассматриваемая категория в полный голос заявляет о себе уже в первопечатной литовской книге, а именно – в «Катехизисе» Мартинаса Мажвидаса (*Martynas Mažvydas*, около 1510-1563). Вследствие притеснений последователей реформации в Великом Княжестве Литовском автор был вынужден оставить родную

Жемайтию и перебраться в Кенигсберг. Здесь в 1547 г. и увидел свет «Catechismvsa prafty ųzadei».

Приведем одну выдержку, содержащую заимствованную лексему:

*Wienas materis wiras, ne tingus, trezwas, ramas, pretiliskas, gadnas makiti, ne girtuokle, ne zbradnius, ne norijs biauraus ziska, bet teisus, talims nuo lakamstwas, kurssai sawa huki gierai rheda, kursai sunus turetu savo maczeie paslusnus suw **sakiu wiezlibumu***

Перевод: «Один опытный муж, не лентяй, трезвый, спокойный, дружеский, могущий учить, не пьяница, не баламут, не желающий отвратительной наживы, но правдивый, далекий от искушений, который хозяйство свое хорошо управляет, который сынов своих держит в своей власти, со всякой вежливостью». Обратим внимание на перечислительный способ изображения (см. об этом: гл. 3, ч. II) и кульминацию синтагмы категорией *viežlyvumas*.

К Мартинасу Мажвидасу близок по времени и по духу другой выдающийся представитель Малой Литвы – Йонас Бреткунас (*Jonas Bretkūnas*, 1536-1602). Наиболее значительные его труды – «Giesmes Duchauanas» (1589), «Postilla» (1591) и полный перевод Библии. Последний был завершён к 1590 г., но до сегодняшнего дня так и не дождался своего полного издания. Исследователи, работавшие с текстами Й. Бреткунаса, обращают внимание на «народность» языка. Даже переводя Библию, автор не стеснялся писать живо и увлекательно. «Длительное время общаясь с народом, он привык говорить и писать так, чтобы был понят людьми» [Zinkevičius 1988, III, с. 73]. К сожалению, нам не пришлось лично работать с рукописным переводом. Оригинал сейчас находится в Мюнстере (идёт его издание).

Особый интерес для нас представляет то, что прил. *viežlybas* Й. Бреткунас использует для обозначения идеи святости! *Вежливый* в

переводе становится эквивалентом святого-праведника (ср. приведенные выше примеры: *g, j*). В изданных произведениях Й. Бреткунаса обращают на себя внимание следующие примеры: *Bet buwa Wiras, Gentis Wiro Naemos, isch Gimines Eli-Melech, wardu Boas, tas buwa Wieschlibs Wiras* (Rutos kn. II, 1). В этой связи полезно вновь обратиться к языку русского фольклора. Выше мы отметили, что скоморохи традиционно слывут *вежливыми*. Собирателю русского эпоса А.Д. Григорьеву, автору «Архангельских былин и исторических песен», а в последующем пражскому эмигранту, на Пинеге посчастливилось записать редчайший текст о *святых* скоморохах. Былина «Путешествие Вавилы» «веселых людей» изображает носителями чудесных знаний. «Веселые люди не простые, не простые люди – скоморохи» являются в Вавиле и предлагают идти «скоморошить». Конечной целью пути является «собака Царь», которого необходимо «переиграть». В руках Вавилы неожиданно оказываются чудесные предметы, по ним герой узнает, с кем имеет честь:

Ишша были в руках у его да тут ведь вожжи, –
 Ишша стали шолковые струнки!
 Ишше то цядо да тут Вавило
 Видит: люди тут да не простые,
 Не простые люди – светые».
 (Григ. № 121)

По велению скоморохов хлебы ржаные становятся пшеничными, вареная «кура» взлетает, «стада» птиц наказывают тех, кто не верит в успех «святых людей». Скоморохи награждают девицу, вежливо-подобавюще встретившую (распознавшую их) и пожелавшую им удачи. От игры на гудке предотвращается потоп, сгорает царство Собаки.

Таким образом, сближение *вежливости* и *святости*, по всей видимости, не случайная модификация. Выяснить механизмы взаимодействия мы не беремся. Возможно, что в литовском языке и на Русском Севере процесс происходил независимо. Идея святости могла

быть вторично привита к идеализированным представлениям о человеке-веже. Отождествление *вежливости* и *святости* может быть задано исторически, т.е. ко времени заимствования в др.-рус. языке уже могла существовать именно такая конотация. В конце концов, нельзя исключить и возможность того, что былина «Путешествие Вавилы» была сложена где-то вблизи литовских рубежей, и именно этим обусловлено такое словоупотребление. Какова бы ни была природа взаимосвязи, приведенные языковые факты говорят о том, что они восходят к одному и тому же корню – категории *вѣжество/viežlyvumas*.

Для пестроты картины приведем пример из другого стилистического регистра. Рассмотрим, как категория *viežlyvumas* реализуется в эпистолярном жанре. Для анализа выберем указ короля Речи Посполитой от 22 марта 1639 года. Предыстория указа такова. Польские крестьяне вторгаются на территорию соседней Пруссии и вырубают леса. Глава Прусского княжества обращает не это внимание, а Владислав IV реагирует данным указом.

Mes Wladislaus / Ketwirtaffis Iſch Diewo Malones / Karalius <...>
malone pranefchiam ir ſzadam: <...> Ponas Jurgis Wilhelmas <...> muſip
diddei paſſiſkundes esti <...> ſchitam wieſzlibam praſchimui pritarrem
[Prūsijos valdžios gromatos... 1960, с. 11, 58-59]

Перевод: «Мы Владислав IV с божьей милости король... милостиво сообщаем и требуем: <...> Господин Юрий Вильгельм нам велико пожаловался <...> с этой вежливой просьбой мы согласны...»

Требование обуздать воров, в какой бы форме оно не было бы преподнесено, конечно же, не имеет ничего общего с галантностью и обходительностью в современном смысле слова. Там, где начинается канцелярия и маячит *pluralis maiestatis*, она, галантность, совсем не к месту. Дело совсем в другом. Со стороны Пруссии вносится вполне

определенная жалоба, и так как она вполне обоснованна, т.е. является оправданной, справедливой или же подобающей, то закономерно называется «вежливой».

Глава 5. Категория *viežlyvumas* и языковой пуризм

Примеры, почерпнутые в многочисленных памятниках XVI-XVII вв. и литовском фольклоре, свидетельствуют о былой популярности и распространенности рассматриваемой категории. Заимствованная лексема как в фольклоре, так и в древней литовской письменности стала обозначать лучшие человеческие качества. Вежливый человек – человек, поступающий как надо, правильно, праведно и даже свято.

Для нас, конечно же, важно знать и то, что так было не всегда. Наступали периоды, когда на древний и чрезвычайно успешный восточнославянизм пытались наложить известные ограничения. Так или иначе данные процессы связаны с языковым пуризмом. На основе конкретных текстов рассмотрим две его волны. Первая пришла на рубеже XVII-XVIII вв., вторая – к началу XX в.

Литовский пуризм возникает как полезное и вполне здоровое по своему существу явление. К концу XVII в. в Малой Литве встает актуальный вопрос: «как переводить по-литовски». Церковные тексты были переполнены чужеродными элементами. Чудовищное количество варваризмов в сочетании с калькируемым немецким синтаксисом чрезвычайно затрудняли понимание. Проблему чистоты письменного языка первым вынес на обсуждение Миколас Мерлин (Mörlin, 1641-1708). В 1706 г. в Кенигсберге вышла небольшая брошюра «*Principium primum in lingua Lithvanica*». Автор предлагал обновить официальный, церковный язык лексикой и фразеологией из народного языка, записывать и пользоваться фольклором, избегать заимствований, сложных неологизмов.

На сочинение М. Мерлина тут же откликается Йонас Шулцас (1684-1710). В том же 1706 г. в Кенигсберге появляется его перевод эзоповых

басен – «*Die Fabuln Aesopi*» [Maciūnas 1935, с. 134-148]. В предисловии автор заявляет о приверженности идеям Й. Мерлина. Предпринятый им перевод долженствовал укрепить теоретические положения «*Principium primum in lingua Lithvanica*», доказать, что можно писать «чистыми, точными и хорошими литовскими словами, которые поймет и обыкновенный литовец». Так возникают басни Й. Шулацаса – первое художественное произведение литовской литературы целиком светского характера.

Как кратчайшая форма сюжетного повествования эзопова басня строится по определенным законам жанра. Действие устремляется к финалу, венчается нравоучением или же дидактической частью. «Движение действия почти всегда одноактно и, как правило, представлено одним-единственным эпизодом, достаточным для реализации нравственного урока. До минимума сведены фабульные мотивировки... Но самое существенное отличие басенного рассказа – присутствие сюжетной антитезы как основы подавляющей массы басенных конфликтов: изначальная несообразность вроде бы естественной акции персонажа (его уверений, желаний, поступков) законам действительности (природе самого персонажа или обстоятельств) и неизбежный отсюда контраст завязки действия и его финала» [Тарковский 2005, с. 45-46]. Личный голос рассказчика и нравственные оценки выносятся в сентенцию, за рамки фабулы, и здесь то встает острая необходимость назвать порицаемые или восхваляемые качества человеческой природы.

Учитывая широкую распространенность категории *viežlybumas*, мы могли бы ожидать, что именно она и будет востребована. Рассматриваемая категория чрезвычайно удобна для обозначения положительного героя, добродетелей, и их аллегорических противоположностей. Мы знаем, что в баснях классика литовской литературы, К. Донелайтиса именно антитеза *viežlybieji – nenaudėliai* становится базовым компонентом структуры.

Й. Шулцас, однако, не был бы последователем М. Мерлина, если бы воспользовался заимствованной лексемой. Писатель оказывается в сложной ситуации: употребить славизм не может, а обойтись без него трудно. Й. Шулцас выходит из ситуации следующим образом: сам славизм не привлекает, но зато говорит о нем описательно, «заочно». Так, благодаря языковому пуризму, на свет появляется первая дефиниция *viežlyvumas*.

О вежестве речь заходит в первой же басне, озаглавленной « *Gaidys randa baltû brangû Akmenelû wieną* » или же «Петух находит белый драгоценный камень».

Gaidys kâsdam's Mēszlûse / brangû Петух, копаясь в навозе, нашел в дерьме
Akmenelû wieną Mēžinių' rado. Tą pamatęs один драгоценный камень. Увидев его
sake: Kasgi man is to / tokį brangų Daiktą сказал: «Что мне с того, что нашел такой
radus? Jeib butu Kwieczû Grudas / man дорогой камень? Если бы было пшеничное
gerrius patiktu. Jug man is to ne bus Nauda: зерно, мне бы больше понравилось. Ведь
Nēs' negallu atimt' neig žinnau kaip tawę / мне с того не будет пользы: ибо не могу ее
Garbej' laikyt' / ar / kaip tawę gražesnį daryt? достичь – не знаю, ни как тебя в чести
Ir taip n'asz is tawęs / nei tu is manęs abudu держать, ни как тебя сделать более
ne jokios Naudos ne turriwa. красивым. И поэтому обоим, ни мне от
тебя, ни тебе от меня, никакой пользы

Szis Priilyginnimo Žodis taw sakom's yra / нет».
jei Pon's Diew's nieku newertam Garbės ir Это слово-сравнение к тебе обращено,
Gerybju Daugel dawe / o ne žinnai kaip su если Господь Бог [тебе], не стоящему [его]
tom's gywent' / ar tas Garbej' laikyt'; bet славы и благ много дал, а ты не знаешь,
tom's paczioms Giedą darai. как с этим жить и ту честь удержать и тем
самым посрамляешься.

Galli ir taip sakyt: Szûsa mažiosa ir Можешь и так сказать: в этой маленькой
prastosa Knygelesa didį ir brangų Iszminties и простой книге находишь величавое и
ir Proto Skardą randi / kai' Gaigys Mēszlûse ценное эхо мудрости и ума, как петух
Akmenelį. Bet Glupi ir n'iszmanajie Daiktai камень в навозе. Но глупые и неразумные
tūm' ne wierija / ne pažysta / n'atboja / bet тому не верят, не берегут, но высмеивают
apjūka ir nieku laiko: o tikt grazû / brangû и почитают за пустяк, а [они, книги] полны

Mokslû / wiernû ir Szirdiškû Graudinnimû / только красивым, драгоценным учением,
 podraug' ir patogû Draudimmû pilnos yra. верной и сердечной жалостливостью,
 Geray taw / jey išmokes wertay / tikray / вместе с удобными запретами. Хорошо
 mandagey / tikru Czėsu / ir tikroj' Wietoj' ir тебе, если верно, правильно наученный
 tiems Žmoniems / kuriems kokio reikia Žodžio будешь вежливо: в положенное время и на
 / ape tai kalbesi / tai tawo Žodis kai Auksas ar подобающем месте, говорить об этом
 brangus Akmenėlis Garbej' bus laikom's определенным людям соответственными
словами; тогда твое слово как золото или
драгоценный камень в чести будет
содержаться

Установка на чистоту языка, соответственно, оборачивается многословием. Вместо всем хорошо известного славизма автор дает литовскую замену, прил. *mandagus* «обходительный, соблюдающий правила приличия». Лит. прилагательное оказывается недостаточным для покрытия семантического поля *viežlyvumas*, поэтому необходимы дополнения. В результате то, что было можно изложить при помощи одного слова, заменяется длительным пересказом, который явно не сочетается с лаконичностью басенной формы²². К. Донелайтис, как известно, не ставил перед собой целей языкового очищения, и поэтому, ничем не стесняясь, активно пользовался категорией *viežlyvumas*. Автор «Времен года» использует то, что у всех на устах, невзирая на «родословие» той или иной лексемы. Для него *viežlyvumas* основной прием, способ обозначения человеческой добродетели и пороков. Определение Й. Шульца – первая известная нам дефиниция категории *viežlyvumas*. В этом ее уникальность. Литовская дефиниция (вежливый – в положенное время и на подобающем месте говорящий определенным людям соответствующими словами) органично сочетается с былинным

²² Ср. ту же басню в обработке И. Крылова. Интересно, что и здесь используется рассматриваемая лексико-семантическая категория **вместе**: Петух и жемчужное зерно – Навозну кучу разрывая, / Петух нашел / Жемчужное зерно / И говорит; «Куда оно? / Какая вещь пустая! / Не глупо ль, что его высоко так ценят? / А я бы, право, был гораздо боле рад / Зерну ячменному: оно не столь хоть видно, / Да сыто». // *Невежи* судят точно так: / В чем толку не поймут, то все у них пустяк.

вежеством (ср., напр., сюжет «Илья Муромец в ссоре с князем Владимиром» и др.).

Очередная волна языкового пуризма подоспела к концу XIX в. Одна из конкретных форм его проявления заключалась в том, что авторы рубежа веков «консультировались» с литуанистами на предмет языковой чистоты своих литературных начинаний. Тесные контакты с языковедами, учителями, профессиональными редакторами отчасти объясняется тем, что некоторые авторы одновременно писали, творили литовскую литературу, но одновременно и учились писать по-литовски. В обстановке культурно-коммуникативного превосходства польского языка (у литовской шляхты) доскональное владение литовским не было само собой разумеющимся. Некоторые писатели начинали осваивать или же вспоминать родной язык в зрелости, встав на литературное поприще. Доподлинно известно, что литовскому аналогу Божены Немцовой, Ю. Жамаите, с языковым обустройством произведений помогал Й. Басанавичюс, Й. Яблонскис и др. Свои лингвистические советники были и у Шатриёс Рагана, к творчеству которой сейчас обратимся.

Речь пойдет о рассказе Ш. Раганы «Irkos tragedija» («Иркина трагедия», 1924). Повествование ведется с детской перспективы. Ирка одиноко живет в поместье, проводит время в компании своей собаки и ожидании приезда родителей. Мать приезжает вместе с незнакомым мужчиной (претендентом на место отчима). Узнав о приезде матери, Ирка стремглав бежит ей навстречу. В порыве восторга Ирка расспрашивает о *вежливых* делах матери и хвастает своим *вежливым* поведением:

- Ka gi beveikia mano dukra? Ar sveika, ar linksma? – Ну, и что же поделывает моя дочь? Здорова ли весела?

- Labai labai linksma, nes mamytė parvažiavo. Aš, mamytė, ir šiandien parlėkiaiu namo katru su saulute – ji į – Очень-очень весела, потому что мама приехала. Я, мама, сегодня опять прибежала домой вместе с

savo, aš į savo. Juk Irka *mandagi*, солнышком – оно к себе, а я к себе. mamytė? O ar tavo reikalai buvo Ведь Ирка вела себя *вежливо*, siandien *mandagūs*? правда, мама? А твои дела сегодня

- Ak, Irka, jie niekuomet nėra были *вежливые*? mandagūs. Vis tik įžūlūs ir – Ах, Ирка, они никогда не nepaklusnūs. бывают вежливыми. Все только злые

Tad Irka ėmė guosti motiną, kad, и непослушные. kai ji užaugsianti, padėsianti suvaldyti Тогда Ирка принялась утешать visus tuos *nemandagiuosius* rekalus. маму, что когда она вырастет, то Paskui pasakojo, ką daręs šiandien поможет ей управиться со всеми Džimi, koks jis esąs protingas ir этими *невежливыми* делами. Потом *mandagus*. рассказала, что сегодня делал Джим,

[Šatrijos Ragana 1969, c. 257] какой он умный и *вежливый*.

Речь, конечно же, идет о вежливости в том давнем, несовременном смысле этого слова. Сейчас под вежливостью мы понимаем действия и слова, неразрывно сопряженные с актом коммуникации. Невозможно представить вежливость без интеракции. Ирка же ни с кем не общается, проводит время в одиночестве. Ее вежливое поведение заключается в том, что она соблюдает правило: возвращается домой да захода солнца. Именно на этом правиле концентрируется внимание в начале рассказа: «[bėgus į kalnelį sodno gale ir pamačius, kad saulė jau tik puse savo veido težiūri pro savo auksinio rūmo angą, Irka skubiai surinko savo lėles ir nuėjo namo. Ji niekad os neužmiršta teleidžiama būti sodne lig saulutei nusileidus» («Вбежав на пригорок в дальнем углу сада и увидав, что солнце всего в половину лица выглядывает из окошка своего золотого терема, Ирка быстро собрала кукол и пошла домой. Она никогда не забывает, что ей разрешается быть в саду только пока солнце не село» – там же). Ирка, соответственно, поступает правильно, подобающе, поэтому-то она и вежливая.

Литовский эквивалент *mandagus* «вежливый» мы рассмотрим в следующей главе. Пока ограничимся лишь тем, что в памятниках древней письменности данное прилагательное иногда выступает в значениях «нравственный», «хороший», «подобающий» и т.д. Соответственно, *mandagūs reikalai* в призма древнелитовского языка (!) можно воспринимать как «хорошие дела». Хорошо, допустим, что по каким-то нам не известным причинам Ирка ориентируется на древне-письменную норму. Но как быть с последним случаем – *mandagus [šuo] Džimi?* Словосочетание *mandagus šuo* «вежливая собака» с перспективы литовского языка, как древнего, так и современного, ровно ничего не говорит, выглядит бессмыслицей. Читатель видит в этом пустой детский лепет. Все становится на свои места, когда обращаемся к речевой практике XIX в. В охотничьем языке существовало устойчивое выражение *вежливая собака*²³. Напр.: «Главное удовольствие в охоте доставляет резвость, ловчивость ястреба и доброе чутье и вежливость легавой собаки» (С. Аксаков «Рассказы и воспоминания охотника» V, 222). Посредством динамичного охотничьего сленга данное выражение стало обиходным в языке польско-литовской шляхты. Вежливость в данном случае обозначает выдрессированность пса, т.е. собака ведет себя так, как надо, полагается.

Причина замены *viežlybas* на *mandagus* предельно ясна – языковой пуризм. Оказывается, девочка лепечет не просто так, а по программе пуристов. Не совсем понятно, на каком этапе произошел процесс «очищения». Из-за юного возраста мы вряд ли можем заподозрить Ирку в инициировании лексикальной перестановки (сомнительно, что Ш. Рагана специально изобразила Ирку языковым пуристом, хотя, с другой стороны, странно, что автор «заставляет» девочку говорить *senobiškai* «по-старому»). *Mandagus* на месте *viežlybas* могло появиться на стадии

²³ В современном русском языке – это, пожалуй, единственный пример, где отчетливо просматривается древнее значение прилагательного. Как это ни парадоксально между *вежливым псом* и *вежливым Добрыней* больше общего, чем между Добрыней и современным вежливым франтом. И Добрыня и вежливая собаку ни перед кем не шаркают ногой, ни у кого не целуют рук, но поступают как надо, подобающе.

редактирования текста. Наконец, нельзя исключить, что писательница или редактор лишь фиксируют до них произошедшее «исправление». Мы склоняемся, скорее, к первым двум возможностям. Как бы то ни было, и здесь налицо сознательное отторжение славянского элемента на лексическом уровне.

Глава 6. *Viežlyvumas – mandagumas*

Из выше приведенных примеров уже стало ясно, что древняя лексико-семантическая категория *viežlyvumas* имеет своего двойника в лице лексемы *mandagumas*. По поводу ее этимологии можно сказать лишь то, что лит. *mandagus* связывают с верх. нем. *mandag* «дружеский, бодрый». Также существуют попытки связать *mandagus* с лит. *mandras*, латыш. *tuodrs* «быстрый, бодрый», рус. *мудрый* и т.д. [Fraenkel 1965, с. 405; Būga 1958, I, с. 587-588]. А. Сабалиускас прил. *mandagus* помещает в особый разряд лексики, характерной только для литовского языка [Sabaliauskas 1990, с. 212]. Сюда он относит слова неясного или же спорного происхождения и неологизмы, возникшие на базе балтийского «строительного» материала. Причислению к общебалтийскому лексическому пласту препятствует отсутствие соответствий в других родственных языках. Конечно же, это еще ничего не значит. Словообразовательные параллели и в латышском и в прусском языках могли просто выйти из обихода, однако упомянутая немецкая лексема *mandag* заставляет сильно в этом сомневаться.

Итак, *mandagus*, по всей видимости, тоже заимствование, хотя и не настолько очевидное, как славизм *viežlyvas*. В случае *mandagus* мы не можем с уверенностью сказать, была ли данная лексема известна литовскому языку до XIII в. Ясно одно – в памятниках древнелитовской письменности XVI-XVII вв. *mandagus* семантически сближается с *viežlyvas*, позднее вытесняет древний славизм и, наконец, меняет свое значение (на «красивые манеры, галантное поведение»). Конечно, нас

привлекают случаи, где *mandagus* выступает в значении «подобаяющий». Так как *mandagus* иногда вполне целенаправленно замещало откровенный славизм (Ш. Рагана и др.), то в случаях его (*mandagus*) употребления мы вправе искать первоначальные контексты, т.е. такие контексты, где ранее (или одновременно) фигурировало прил. *viežlyvas*. В любом случае такие примеры только дополняют наши представления о рассматриваемой категории **ВѢЖЕСТВО/viežlyvumas**.

- a. *Mandagus gyvenimas (butas) – KI513* (Вежливое жилье)
- b. *Ot tai mandagus maišelis prie bulvių! – Alk.*
- c. *Brunku kiekvienam mandagią plieninę svertuvelę – S. Daukantas.*
- d. *Sūnums Arono turi padaryti sermėgas, juostas ir kepures bičnas ir mandagias –RB2Moz28,40.*
- e. *Toji žemė, į kurią lytus tankus įsėd ir mandagias žoles neša – CI281.*
- f. *Pabudavok... altorių... mandagioj vietoj – ChTeis7,26.*
- g. *Ir šiupinys gardus, taipjau ir mandagi gručė su kisieliu – K. Donel.*
- h. *Jūs bėgote mandagai – NTPvG5,7*
- i. *Bet naujame testamente šviesiai ir mandagai tos dieviškos trys personos... išreikštas turime – DP258.*
- j. *Senoji Greta buvo ne taip mandagio gymio – SD192.*
- k. *Jis taip mandagai patalą pasiklojo, kad miela žiūrėt – Grš.*
- l. *Sprogst atžaleliai iš šaknų ir pražyd mandagai – Ns1832,3.*
- m. *Jis girdejęs vieną moteriškę, mandagai dainuojančią – MšK.*
- n. *Paveikslas stovylos visai savotiškai buvęs padarytas ir mandagai, ypačiai jos apdaras – A1884,27.*
- o. *Deivystė auksui, arba sidabru, arba akmenui, mandagai drožtamui,... prilyginta – BrApD17,29.*
- p. *Tur mislyti, jeib mandagai išdirbtų – CI180.*
- q. *Mandagai meluot mok – DP27.*
- r. *Mandagus, kurs yra vinklus ant visa – J.*

s. *Tai mandagi kiaulikė* – Skr.

(по материалам Каталога Института литовского языка и *LKŽ*; см. также: DP27, ChB264, SD1,28 и т.д.)

Полагаем, что прил. *mandagus* (< верх. нем. *mandag*) в литовском языке появилось позднее восточнославянизма и со временем начало употребляться в его значении и в привычных для *viežlybas* контекстах (см. материал фольклора – гл. 4).

Глава 7. *Viežlyvumas* у Кристионаса Донелайтиса

Первым литературным опытом литовского поэта были басни. Во времена, когда жил и творил К. Донелайтис (1714-1780), языковой пуризм не был на повестке дня, поэтому поэт не ограничивается в употреблении славизма (ср. Й. Шулцас). Соотношение между *viežlybas* и *mandagus* однозначно в пользу первого (16:4). К. Донелайтис пишет гекзаметром, причем ориентируется не только на ударные позиции, но и на качество гласных (долготу, дифтонгоидность) [Girdenis 1993]. Учитывая, что дифтонг *ie* для К. Донелайтиса равнялся сильной позиции, нужно предположить, что использование *mandagus* (параллельно с доминирующим *viežlybas*) обусловлено требованиями метрики. Предпочтение отдается *viežlyvas*. Там, где невозможно построить фразу, употребив славизм, используется прил. *mandagus*.

Вежество (*viežlybumas*) и вежливый герой (*viežlybasis*) у К. Донелайтиса занимают главенствующее место. Словообразовательное гнездо, объединенное производящей основой *viežlyb-*, вбирает 24 словоформы, что для словаря поэта большой показатель [Kabelka 1964, с. 257-258]. Симпатии автора однозначно на стороне древнего восточнославянизма. Так же как и в русских эпических песнях, категория *viežlyvumas* является базовой для литературного эпоса. Благодаря *viežlybumas*, возникает уникальная художественная концепция. Согласно

ней, *viežlybieji būrai* («вежливые крестьяне») одновременно являются *vyžoti būrai*, т.е. «лапоточными крестьянами». Герой К. Донелайтиса, обутий в лапти, живет на особой территории под названием *Vyžlaukis* (*vyža* «лапоть» + *laukas* «поле»). Для осуществления литературного замысла писатель умело использует аллитерацию: *viežlybas* – *vyžotas* – *Vyžlaukis*. На данных лексемах, свидетелях давно минувшей години (*barydota gadynė*), ставится особый акцент. Интересно, что во времена, когда создавались «Времена года», в Малой Литве существовал запрет на производство лыка. Крестьяне под страхом штрафа были вынуждены забыть лапти и перейти на продукты прусской мануфактуры. Таким образом, писатель противоречит своей эпохе, идеализирует качество, идущее в разрез с государственной экономической политикой. В конечном итоге, так же как и в творчестве Н.А. Львова, вежливый характер идеализируется одновременно с его носителем – простым крестьянином-буром (представители других сословий и инородцы, по К. Донелайтису, не могут быть вежливыми в принципе).

Всех буров автор сознательно делит на две группы: *viežlybieji* – *nepaudėliai* (*вежи* – *никчемные*). Такое распределение литературных персонажей в донелайтиане воспринимается как неписанный закон, аксиома, не требующая доказательств (S. Žukas, A. Jovaišas и т.д.). Если присмотреться к характерологии литературного героя, то нельзя не заметить, что в действительности поэма развивает не бинарную, а тринарную модель. Все герои, как и следовало ожидать, осмысляются на аксиологической шкале *положительного* – *отрицательного*. Однако не только вежество составляет положительный характер. В поэме действует много других персонажей, о которых ничего плохого не говорится. Они составляют общий фон, тот положительный контекст, которому противостоят отрицательные герои и на котором отчетливо выделяются вежи. *Viežlybasis* «вежливый герой» – одна из реализаций положительной характерологии.

Просветительская эстетика XVIII в., как известно, требовала от писателя бинарной ясности. Повествование по обыкновению строилось на грани между *Разумовым* и его антиподом – *Скалозубом*. К. Донелайтис утверждает тринарную литературную модель: отрицательный, положительный герой и особый идеализируемый характер вежливого персонажа. Для писателя эпохи просвещения такой подход не был типичным. Исключительность литературного метода, вероятно, привела к тому, что «Времена года» оказались чуждыми художественному вкусу эпохи, не были поняты современниками. Вот почему литовский эпос появились в печати с большим опозданием, только к 1818 г.

В поэме К. Донелайтиса (так же как в русских былинах) вежество составляет особую, высшую ступень в оценке человеческого характера, близкую по силе обобщения идеализированному пониманию. Как и в русском эпосе у литовского классика действует тот же закон: *каждый вежа – положительный герой, но не каждый положительный герой может/должен быть вежливым*. Таким образом, невежа (*netikėlis, niekam tikęs žmogus*) у К. Донелайтиса противопоставлен 1) обыкновенному положительному благонравному буру и 2) идеальному вежливому герою, который всегда поступает, как надо (*kaip reikiant*), как подобает (*tinkamai, deramai*). Та же самая картина в русских былинах. Вежливому Добрыне вместе с остальными богатырями противостоят эпические враги, сам же Добрыня своей вежливой статью отчетливо выделяется на фоне «своих».

Вежливый герой, избранный К. Донелайтисом в качестве желанного идеала, является таковым совсем не потому, что жалостен к людям, обходителен, галантен, уважителен в обращении с ними и т.д., но из-за того, что умеет, как следует себя вести, как надо разговаривает с крестьянами, с господами, обращается к людям в зависимости от ситуации, времени, настроения собеседников и т.п. Из самых сложных ситуаций, предприняв объективно должный поступок, вежа всегда выходит

достойно. Вежа К. Донелайтиса поставлен между двумя противоположностями. С одной стороны, это свои односельчане, с другой, господа. Вежа находит общий язык как с первыми, так и со вторыми.

В подтверждение сказанного приведем несколько конкретных примеров. В первой части поэмы, названной «Pavasario linsmybės» («Весенние радости»), о себе заявляет бур Слункюс. Имя *Slunkius* значимое, образовано от глагола *slunkti* «медленно идти, брести». Согласно своему имени, Слункюс философствует на предмет размеренности, нерасторопности жития:

Tėvs mano Mubas taip glūpai kol gyvs nepadarė,
 O ir jo tėvs Stepas taip gyvent nemokino.
 «Vaikai! šiukštu jums naujus niekus pramanyti,
 Taip gyvenkit, kaip mes, tėvai jūsų gyvenom.
 Vis protingai, vis pamaži nusitverkite darbus.
 Čėdykitės kytriai jauni, dar būdami klapais,
 Kad dar ir senysta ką ras atšokdama kartą."
 Tuos žodelius savo tėvo aš tikrai nusitverčiau
 Ir, kol gyvs krūtėsiu, jų kasdien paminėsiu».
 (PL, 444-454)

Человеку некуда и незачем спешить. Свою жизненную философию Слункюс подкрепляет красноречивыми сравнениями: «Žinom juk, kad ratas sens, pamaži besisukdams, / Tą daug syk arpauna, kur vis ritasi šokdams; / O kiek syk sutrūksta jis permier besisukdams! / Kuinas taip jau ramboks, vis žingine žerdams, / Kartais dar toliau uždėtą nuneša našta, / Kaip tūls žirgs durnuodams ir piestu šokinėdams; / O kiek sykių dar iškada sau pasidaro», т.е. старое колесо, не спеша вращаясь, выдержит дольше, чем новое, употребляемое в спешке; тяжеловес, медленно переставляя ноги, довезет груз далее глупо скачущего жеребца. Казалось бы, все в порядке. Слункюс – традиционалист, живущий по старинке и ретиво соблюдающий отчий и дедов наказ. Наши симпатии могли бы быть на его стороне.

На монолог Слункюса незамедленно реагирует вежливый герой, деревенский староста Причкус. Его «вежливая» тирада из-за своей крутости с трудом поддается переводу. Приведем ругательные слова, произнесенные только в адрес Слункюса (на прицел Причкуса тут же попадают и другие невежи):

„Eik, - tarė, - šūdvabali! kur šūdvabaliai pasilinksmin.

Juk tu jau su savo namais, kasmets šūdinėdams,

Sau ir mums, lietuvninkams, padarei daug gėdos.

Aš, kad man skvieruot pons amtsrots urdelį siuntė,

Tau, žinai, daug syk taipo per nugarą drožiau,

Kad iš skrandos tavo senos sklypai pasidarė.

O kiek syk tave vakmistras kone visą nulupo

Ir tu raišėdams vos vos į baudžiavą traukeis.

Neprieteliau! tu, lėbaudams ir vis smaguriaudams,

Lauką su tvoroms ir namą visą suėdei;

O dar ir savo vaikesčius pagadint nesigėdi?

Bet, jūs viežlybi kaimynai, jūs gaspadoriai

Su grečnomis gaspadinėms, mums nereik nusigėdėt,

Kad mes, būriškus jau vėl nusitverdami darbus,

Mėšlus rausim ir laukus įdirbdami vargsim;

Juk ir pirmas sviets, šventybę savo prapuldęs,

Su darbais ir rūpesčiais savo pleškino puodą:

Nes be trūso dievs mus išmaitint nežadėjo,

O tingėdami vis ir snausdami sviete netinkam.

Kad skilvys išalkęs nor gardžiai pasilinksmint,

Tai pirma tur visas kūns viernai pasipurtint.

Taigi nutverkim jau kiekviens savo jautį

Ir išrėdę jį kaip reik klausyt pamokinkim:

Nes, ką žiemą jis yra stalde sudūmojęs,

Tur visiems pasakyt, kad vėl jau vasara grįžta.

(PL, 457-481)

Бурная реакция Причкуса в адрес невеж обусловлена тем, что последние бездельничают, в подходящее время не работают на поле, а длинными зимними вечерами голодают и мерзнут. Может, это и не было бы так страшно, если бы из-за них не страдали все остальные. Гонимые голодом невежи клячат еду и таким образом разоряют все селение. Гонимые нуждой такие буры вынуждены заниматься опасными

промыслами (опять-таки традиционными!) – стреляют ворон, которые рassiживают по соломенным крышам (Дочис). Отстрел ворон оборачивается пожарами, т.е. общей бедой. В конце концов, «размеренное», неспешное, традиционное поведение невеж портит репутацию деревни в глазах господ.

Для сравнения приведем близкородственный текст – оригинальную басню К. Донелайтиса «Pasaka apie šūdvalalį» («Сказка о навозном жуке»). Созданная до «Времен года», «Сказка» послужила отправной точкой для изображения Слункюса и Причкуса (между «Сказкой» и «Весенними радостями» прослеживаются прямые интертекстуальные связи). Категория вежества в басенном прототексте представлена еще более лицемерно:

Kirminą juodąjį, kurs linksmas šūde gyvena
 Ir besivoliodams tas smarves giria per mierą,
 Tą kirminai kiti, darže darkydamį žiedus,
 Ypačiai grikvabalis, ansai neprietelius sodų,
 Šūdvalalį, sakau, kaip girdit, kvietė į svodbą.
 Nės darželiai visi ir visos pūstos vietelės
 Judinos iš kapinių, saulelei budinant svieta.
 Varnos ir varnai ir daug pažįstamų paukščių
 Išlėkė ir dainas, kaip buvo mokinti, dainavo.
 Štai ir šūdvalalis pradėjo šūde dainuoti
 Ir atsitūpęs po tam papratusį ēdesį kramtė.
 Bet visiems kirminams kaip smirdas gėdą padarė.
 Tuo visi vabalai jį skaudžiai barti pradėjo:
 «Smirde, netikėli, tu sterva, tu gi biaurėsti,
 Kas tai? Ar dar vis, kaip pratęs, smarvej lindai?
 Štai jau kaip ilgai, daugiau kaip tūkstantis metų,
 Kaip, begėdi, tu jau tokioj biaurybėje kyšai!
 Eikš ben kartą pas mus, žiūrėk, kaip mes čia gyvenam
 Ir atsitūpę gardžiai šakelių pumpurus valgom.
 Ak, kad ben ir tu geresnį gautumbei protą
 Ir kaip mūsų kaimyns darže išmoktumbei žaisti!
 Eikš, neprieteliau, šen, pamesk tą savo biaurybę!
 Gėdos juk gana padarei jau giminei mūsų.
 Taigi ben kartą pas mus ant mūsų rodykis medžių».
 Bet jis su visais vabalais dar bartis pradėjo:
 «Jūs iškadininkai, jūs vagys, jūs piktadėjai!
 Ar nesibijotės žmonėms iškadą daryti?
 O dar ir mane taip jau mokinate grieką?
 Aš visados kol gyvs tokios neteisybės baisėjaus,
 Iš mažų dienų dabojaus *viežlybai* elgtis.
 Argi dabar turėčiau dar šelmystę varyti?»

Черного жука, кот. в навозе весело живет
 И, ползая, ту мерзость хвалит чрезмерно,
 Так того другие жуки, жрущее цветы,
 (И особенно враг садов – майский жук)
 Навозного жука, говорю вам, позвали на свадьбу.
 Т.к. все сады и все пустые места
 Под лучами солнца вставали из мертвых.
 Вороны и вороны и другие известные птицы
 Вылетели и по обыкновению песни запели.
 Вот и навозный жук начал в дерьме петь,
 Сидя и грызя обычную свою еду.
 Но всех других, как холоп, в неловкость ввел.
 Поэтому все жуки его начали зло ругать
 «Холоп, невежа, стерва, ты, мерзавец,
 Ты что? По обычаю все ползаешь в гное?
 Вот как уже долго, более тысячелетия,
 Как, бесстыжий, в такой мерзости ползаешь!
 Иди разок к нам, посмотри, как мы здесь живем
 И, присев, с аппетитом едим древесные почки.
 Ах, если бы ты поумнел
 И как сосед наш научился в саду нашем играть!
 Иди, невежа, сюда, отбрось свою мерзость!
 Стыда ведь сделал достаточно нашему роду.
 Так хотя бы разок появись на наших деревьях».
 Но он еще начал ругаться со всеми жуками:
 «Вы, разрушители, вы, воры, вы, злодеи
 Неужели не боитесь вред делать людям?
 А еще и меня учите греху?
 Всю свою жизнь я избегал таких пакостей,
 С малых лет стремился вести себя *вежливо*.
 Неужели теперь буду зло делать?»

Taip atsiliepeš ūmai į smarvę vėlei įlindo
Ir dar vis kasmets, kaip žinome, šūde gyvena.

Tu netikęs žmogau, kaip tau ta pasaka rodos?
Kad kaip šudvabalis ir tu tik smarvėje lindai
Ir *neviežlybai* vis ant šelnystės dūmoji,
Ar nesigėdi, kad sviets tave vis šūde užspėja?

Šudvabaliai visi jau tam bjaurybėje gimė
Ir visos giminės bei tėvų paprotį laiko;
Nės jau taip jiems tėvsč moma ir močeka liepė.
Bet kas tau, žmogau, taipo pavelijo elgtis?
Vogdams, atimdams, klastuodams šelmis vis būsi.
Tau niekad visi negelbės poteriai tavo,
Kad ir klūpodams, rankas susiėmęs, skaitysi.

Juk žinai, kad dviem negali paslūžyti ponam.
Dviem keliu viena kart nei raitis, nei pėsčias keliauji,
Taip negali dvigubai ir keikt, ir giesmes giedoti.
Taigi ben kartą pamesk tokį netikusį būdą.
Juk girdi, kaip kirmėlės vabalą juodąjį peikia
Ir padvydamos tokį nešvankėlį bara.

Rods negražu, kad šudvabalis bjaurybėje žaidžia,
Ir labai negražu, kirminai kad pūstyja žiedus.
Bet ir tau, žmogau, negražu, tu gėdą turėsi,
Kad kaip šudvabalis ir tu vis smarvę mylėsi.

Так ответив, быстро в гной свой влез
И все, как нам известно, в дерьме живет.
Ты, невежа, что думаешь о сказке этой?
Как жук навозный, и ты в гниоце лазаешь
И *невежливо* думаешь все на зло,
Не стыдно ли, что все в дерьме находишься?
Навозный жук хотя бы в той мерзости рожден
И придерживается обычаев отцов и рода;
Ибо так родители повелели.
Но кто тебе, человек, так повелел вести себя?
Грабя, обманывая, будешь лишь шельмой.
Молитвы твои тебе никогда не помогут,
Хоть и на коленях стоя, молиться будешь.
Ведь знаешь, нельзя двум служить господам.
И верхом и пешком в то же время ехать,
Также не можешь и ругать и псалмы петь.
Отбрось разок этот неподобающий характер.
Слышишь, как жуки жука навозного ругают
И, дивясь, никчему этого судят.
Кажется, плохо, что он в навозе забавляется,
И очень плохо, что жуки уничтожают цвет.
Но и тебе, человек, не хорошо и стыдно,
Что, как этот жук, ты свой гной все любишь.

Навозный жук, конечно, никто иной, как Слункюс (ср. обращение Причкуса к нему: «Eik, - tarė, - šudvabali! kur šudvabaliai pasilinksmin...»). Слепо соблюдая установления предков, Слункюс убежден, что поступает правильно, как надо. Вежливый Причкус пытается вывести его и ему подобных из заблуждения, причем в своем наставлении не чурается крепких выражений, побоев и пр.

Вежливый герой К. Донелайтиса для достижения нравственно-должного результата прибегает к убеждению, совету, часто – к морализаторскому увещанию. Средства воздействия этим не исчерпываются. «Дедукция морального закона» приводит и к «крутости», насилию. В художественном воображении писателя происходит любопытная метаморфоза. С точки зрения общепринятой морали, нравственно-положительный поступок в действительности, в плоскости всеобщего нравственного закона, часто – всего лишь притворство и способ достижения субъективной максимы. Писатель, так же, как, напр., позднее И. Кант, не стремится привести в пример какие-нибудь

высоконравственные, героические, самоотверженные поступки. Во всех таких случаях можно было бы усомниться в истинных мотивах и побуждениях. Является ли поступок, который изображается и считается добродетельным, действительно моральным? Вежливый герой по замыслу К. Донелайтиса, часто поступает, казалось бы, неприглядно, дико. Будучи, например, деревенским старостой, т.е. обладая известными правами, герой-вежа может прибегнуть к насилию, кого-либо выпороть, «некрасивым способом» засудить и т.п. Границы нравственного крайне зыбки. Идеальный герой К. Донелайтиса в принципе может кого-либо уничтожить, может из-за своего вежливого поведения сам поплатиться жизнью, но в конечном итоге предпринятый им свободный выбор, подвластный моральному закону, оказывается единственно верным и должным. Не важно, что о вежливом герое говорили при жизни. Его могли ругать и ненавидеть. После смерти однако все задним числом понимают достоинство и верность его умыслов и поведения.

Может показаться весьма примечательным, что апология вежества у К. Донелайтиса и в русских былинах приобретает похожую форму. Перед читателем литовской поэмы и слушателем русских былин простирается горизонт ложного ожидания. Первоначально, иногда даже не осознавая этого, мы встаем на позицию невежи (Слункюса; Дуная – см. былинку «Бой Добрыни и Дуная»). Позднее, после интерпелляции вежливого героя мы вынуждены признать наши ожидания ошибочными, узнать правоту и встать на сторону Причкуса и Добрыни.

И в русских былинах и у К. Донелайтиса вежливый герой не блещет книжным умом, галантностью, хорошими манерами, наоборот, данные качества ему претят (так ведут себя инородцы и господа, которые не могут быть вежливыми по определению). Вежа всегда, даже в самых сложных ситуациях этического выбора, поступает подобающе, как надобно. Примеры близости между Добрыней и вежливым героем К. Донелайтиса

на этом далеко не исчерпываются. За недостатком места оговорим одно неожиданное языковое проявление вежества.

Вежливый герой К. Донелайтиса, как уже было отмечено, за острым словом в карман не лезет. Брань, сопряженная с известной долей морализаторства, не противоречит вежливой характерологии. Ругань приобретает вежливый характер, если произносится «в положенное время и на подобающем месте», адресована «определенным людям» и, что сейчас для нас особенно важно, осуществляется «соответствующими словами». Да, ругань, так же как и хвала, в устах вежи приобретает отличительные знаки. Во второй части поэмы, именуемой «*Vasaros darbai*» («Летние работы»), узнаем о некоем безымянном амстроте, память о котором продолжает жить и после его смерти. В отличие от своих коллег данный правитель отличался вежливым способом хвальбы и ругани:

Amtsrots valsčiaus to, kursai tą baudžiavą valdė,
 Toks širdings buvo pons, kad kožnas, jo paminėdams,
 Dar vis verkia: nės jisai jau numirė pernai.
 Ak! išties ir vertis, kad jo kasdien paminėtų
 Ir kad jo vaikų vaikai paminėdami verktų.
 Tai buvo pons! ak tokį vos vėl rasime sviete!
 Mislyk tikt, gaidau! kaip jis mylėdavo žmones;
 Ir dėl ko jį vėl visi mylėdavo būrai.
 Daug yr ponpalaikių, kurie, pamatydami būrą,
 Spiaudo nei ant šuns ir jį per drimelį laiko;
 Lygiai kad žmogutis toks neverts pažiūrėti.
 Ale nabašninks amstrots taip nedarydavo būrui;
 Bet visur aštriai kaip tėvs užstodavo biedžių.
 Keikesčių niekados iš jo burnos nesulaukėm;
 Ir kad kuočės jis būrus išgirdavo keikiant,
 Tai tuo tėviškai jis juos mokėdavo koliai.
 Jis nesakydavo „tu“, bet vis pasakydavo „jūsų“;
 Ir iškoliodams jis vis ištardavo „jūsų“:
 Nės tikt vokiškai jisai mokėdavo koliai.
 O kad kartais šį ar tą reikėdavo garbint,
 Tai jis tam lietuviškai padarydavo garbę.

(*VD*, 166-186)

Итак, ругань «на Вы» и по-немецки считается проявлением вежливого поведения, хвала же из вежливых уст должна исходить только по-литовски.

Поэтизируя *viežlyvumas*, К. Донелайтис понимает, что художественными средствами идеализирует безвозвратно уходящую эпоху. Писатель с ностальгией вспоминает о «бородатых временах» (*barzdota gadynė*). С тех пор многое изменилось, молодежь испортилась и уже «не на то несется». Особенно показателен в этом отношении монолог вежливого Кризаса:

«Aš, girdėk, brolau! šią kiaušę žilą sulaukęs
 Irgi nemaž ant svieto šiaip ir taip prisibandęs,
 Daug dyvų ir daug naujenu tau pasakysiu.
 Tėvs mano Krizas numirdams mane mažą paliko;
 O našlė moma maitintis ubagais ėjo;
 Todėl iš bėdos man, vargstančiam nabagėliui,
 Slūžyt ir kiaules varinėt pas Bleberį teko.
 Taip aš, valandą viernai jo kaimenę ganęs
 Ir dėl smarvių bei bjaurybių daug prisivargęs,
 Jau po tam akėt ir žagrę sekt panorėjau.
 Nės aš jau kaip glūpas vaiks daug razumo rodžiau,
 O kaip pusbernis ne vieną žilį pranokau;
 Todėl padarynes visokias vos pažiūrėjau,
 Štai jau, mislyk tikt, jas taip išdrožti mokėjau,
 Kad tūls bernas sens dėl to didei nusigando
 Ir besigėdėdams saugojos man pasirodyt.
 Rods nagražu žiliems bernams ir didelė gėda,
 Kad juos koks bernuks glūpoks apgėdina dirbdams;
 O štai dar algos tokie daug dolerių tyko
 Ir vis pasėlio daugiaus išveržt nesigėdi.
 Ak! **kur dingo Prūsuoše barzdota gadynė,**
 Kaip slūžauninks dar už menką pinigą klausė.
 Aš, dar vaikpalaikiu plūpu pas Bleberį būdams,
 Daugsyk dyvijaus, kad koks turtings gaspadorius,
 Su bernais kasmets suderėdams, dolerį siūlė;
 O bernai dar gyrės, kad koksai geradėjas
 Kartais iš tikros širdies šeštoką pridėjo;
 O kad kelnes jiems ir dvi *vyži* pažadėjo,
 Štai jie dar už garbę tą didei dėkavojo.
 Bet kaip sviets po tam didžiutis jau prasimanė

Ir lietuvninkai su vokiečiais susimaišė,
 Štai ir *viežlybums* tuojaus į nieką pavirto;
 Taip kad klapai *vyžų*, *viežlybai* padarytų,
 O mergaitės krosytų marginių nekenčia.
 Klapai kaip ponačiai su puikiais sopagačiais,
 O nenaudėlės mergaitės su kedelačiais,
 Lyg kaip jumprovos jau nesigėdi.
 Taip **lietuvninkai savo *viežlybumą* pražaidė.**
 Bet ir mūs valgius, lietuviškai padarytus,
 Tūls išdykėlis nenauds išpeikt nesibijo».

(VD, 318-356)

На данном отрывке хорошо видно, как К. Донелайтис обыгрывает созвучие *vyži – vyžių – viežlybai – viežlybumą*.

Кризас – типичный представитель вежливой характерологии. Сам о себе герой говорит, что пол столетия вежливо справлялся с вверенным ему хозяйством, т.е. всегда находил компромисс, общий язык как с бурами, так и с господами («Aš, kone penkiasdešimts metų šį savo namą / Viežlybai valdydams ir niekad os nepateikdams, / Ponams taip, kaip būrams, vis įtikti mokėjau» – VD, 367-369). Уже в детстве Кризас отличался «многим разумом» («Nės aš jau kaip glūpas vaiks daug razumo rodžiau»). За свою долгую жизнь вежливый герой многое на себе испытал, многое повидал. Пройдя длинный путь, вежливый герой сравнивает новые времена (или современное безвременье) и старую годину. Сравнение явно в пользу прошлого, когда лапоточным литовцам еще было известно *вежество/ viežlybumas*. Кризас констатирует: «lietuvninkai savo *viežlybumą* pražaidė», т.е. «литовские крестьяне Малой Литвы лишились (дословно: проиграли) свое вежество».

Главную причину упадка *viežlybumas* Кризас, а вместе с ним и сам писатель, видит в смешении литовцев с немцами: «O kad kelnes jiems ir dvi *vyži* pažadėjo, / Štai jie dar už garbę tą didei dėkavojo. / Bet kaip sviets po tam didžiuotis jau prasimanė / Ir lietuvninkai su vokiečiais susimaišė, / Štai ir *viežlybums* tuojaus į nieką pavirto», т.е. «Когда брюки им [старым работникам] и два лаптя были обещаны, то они [работники] за такую честь

превелико благодарили. Но после того, как людской свет вздумал гордится собой, и литовцы с немцами смешались, то вежество сразу же в ничто превратилось». Таким образом *viežlybumas* писателем осмысляется как древнее и чисто национальное качество литовского характера. По мере того, как литовцы забывают свой язык, теряют национальный облик и мешаются с представителями других народов (колонистами), они безвозвратно теряют свое лицо, перестают быть литовцами.

Глава 8. Категория *viežlybumas* и нравственный императив И. Канта. К постановке проблемы

Идеи, высказанные классиком литовской литературы по поводу литовского *viežlybumas*, нашли свое продолжение и развитие. В этой связи целесообразно вспомнить одно знаменательное событие рубежа XVIII-XIX в., а именно – издание литовско-немецкого и немецко-литовского словаря. Словарь появился в 1800 г. в Кенигсберге, автор издания – Кристиан Милке (*Christian Gottlieb Mielcke, 1732-1807*). Издательский замысел не ограничивался сугубо лексикографическими целями и задачами. Книга долженствовала привлечь внимание общественности к литовскому вопросу. Остросоциальную подоплеку «литовской декларации» убедительно вскрыл Томаш Госковец [Noskovec 2002, с. 125-146].

Непосредственно лингвистическую часть предвещают три предисловия и «приписка господина профессора Канта». Первое предисловие написано самим автором. В нем К. Милке констатирует, что литовский язык в прусском обществе все еще в ходу, а после аннексии части Польши говорящих по-литовски прибавилось. Далее автор излагает лингвистическую концепцию своего труда.

Автор второго предисловия, Daniel Jenische (1762-1804), говорит о литовском языке как о языке реликтовом и исчезающем. Каждый язык по-своему уникален, выявляет неповторимые механизмы восприятия мира. Особое внимание Ениш уделяет архаике литовского языка, его близости к

языкам античности. Одновременно автор восхищается особым, самобытным литовским характером и литовской поэзией.

Третье предисловие написал Christoph Friedrich Heilsberg (1726-1807). Будучи военным и экономическим советником в Кенигсберге, Хайлсберг изъясняется в государственно-политическом духе. Восхваляя стремление культурно возвысить литовцев, живущих в Пруссии, автор превозносит пестроту языковой политики, сравнивает австрийского Иосифа II и прусского Бедржиха II. Онемечивание населения не представляется ему приемлемым решением этнического вопроса. Литовцы – народ чести, верный и преданный власти, народ веселый и веселящийся, с большим запасом народных песен, и все это – только благодаря своему родному языку. Потеряв свою речь, литовцы автоматически лишаются своих превосходных и полезных для государства качеств.

«Nachschrift eines Freundes» кульминирует размышления предшествующих авторов. Слова И. Канта выполняют роль заметки «от главного редактора» (Канту известны все предшествующие заявления). Не повторяя ничего из выше сказанного, И. Кант обогащает дискурс кульминационными замечаниями, благословляя своим авторитетом всю книгу.

«Дружеская приписка» является последним текстом, изданным при жизни философа. В прусских академических «Kant's gesammelt Schriften» (KGS VIII, 1923, с. 445) язык оригинала искажен в духе издательской установки на модернизацию. Приведем текст «приписки» по критическому изданию Т. Госковца (экземпляр словаря Милхе находится в НБ ЧР):

Nachschrift eines Freundes.

Daß der preußische Littauer es sehr verdiene, in der Eigenthümlichkeit seines Characters, und, da die Sprache ein vorzügliches Leitmittel zur Bildung und Erhaltung desselben ist, auch in der Reinigkeit der letzteren, sewohl im Schul- als Canzelunterricht, erhalten zu werden, ist aus obiger Beschreibung desselben zu ersehen. Ich füge zu diesem noch

hinzu: daß er, von Kriecherey weiter, als die ihm benachbarte Völker, entfernt, gewohnt ist mit seinen Obern im Tone der Gleichheit und vertraulichen Offenherzigkeit zu sprechen; welches diese auch nicht übel nehmen oder das Händedrücken spröde verweigern, weil sie ihn dadey zu allem Billig finden. Ein von allem Hochmuth, oder einer gewissen benachbarten Nation, wenn jemand unter ihnen vornehmer ist, ganz unterschiedener Stolz, oder vielmehr Gefühl seines Werths, welches Muth andeutet und zugleich für seine Treue die Gewähr leistet.

Ader auch abgesehen von dem Nutzen, den der Staat aus dem Beystande eines Volks von solchem Character ziehen kann: so ist auch der Vortheil, den die Wissenschaften, vornehmlich die alte Geschichte der Völkerwanderungen, aus der noch unvermengten Sprache eines uralten, jetzt in einem engen Bezirk eingeschränkten und gleichsam isolirten Völkerstammes, ziehen können, nicht für gering zu halten und darum ihre Eigenthümlichkeit aufzubewahren, an sich schon von großem Werth. Büsching beklagte daher sehr den frühen Tod des gelehrten Professors Thunmann in Halle, der auf diese Nachforschungen mit etwas zu großer Anstrengung seine Kräfte verwandt hatte. - Überhaupt, wenn auch nicht an jeder Sprache eine eben so große Ausbeute zu erwarten wäre, so ist es doch zur Bildung eines jeden Völkchens in einem Lande, z.B. im preußischen Polen, von Wichtigkeit, es im Schul- und Canzelunterricht nach dem Muster der reinester (polnischen) Sprache, sollte diese auch nur ausserhalb Landes geredet werden, zu unterweisen und diese nach und nach gangbar zu machen; weil dadurch die Sprache der Eigenthümlichkeit des Volks angemessener und hiemit der Begriff desselben aufgeklärter wird.

I. Kant.

Наше внимание привлекает, как И. Кант изображает моральный облик литовца: «pruský Litevec, jsa více než národy, s nimiž sousedí, vzdálen podlézavosti, je zvyklý se svou vrchností mluvit jako s rovným a v důvěrné otevřenosti a že vrchnost to od něho nebere ve zlém a nebrání se štítivě stisku jeho ruky, protože ví, že je přitom ochoten ke všemu, co je správně. Jeho hrdost

je něco jiného než povýšenost, je zcela jiná než hrdost jistého sousedního národa, když je někdo mezi nimi urozenějšího původu; je to mnohem spíše pocit vlastní hodnoty, jaký svědčí o zmužilosti a zároveň je zárukou věrnosti» (перевод Т. Госковца). «Прусский литовец» нам сильно напоминает вежу К. Донелайтиса. Вежливый характер «окрыт ко всему, что является правильным». Полагаем, что И. Кант, говоря о литовцах, имеет в виду именно лит. категорию *viežlybumas*, уже становившуюся до него предметом литературного изображения.

Говоря о героях К. Донелайтиса, мы уже провели параллель с нравственным императивом И. Канта. Для автора «Критики чистого разума» основа основ – свобода, причем взятая в качестве «совершенно независимой от естественного закона явлений и их взаимоотношений, а именно от закона причинности. Такая зависимость называется свободой в самом строгом, т.е. трансцендентальном смысле». Соответственно свободной Кант называет такую волю, которая ориентирована не на субъективность максимы, всегда конкретную и всегда изменчивую, а на ее чистую «законодательную форму». Когда мы видим и понимаем, что при всей субъективности максим они заключают в себе общую форму морального ориентирования, мы уже начинаем действовать как полномочные представители свободной воли: «Поступай так, чтобы максима твоей воли всегда могла иметь также и силу принципа всеобщего законодательства». То же самое происходит с вежливым героем К. Донелайтиса. Герой-вежа согласует субъективные максимы поведения и абсолютный, строго необходимый, всеобщий нравственный закон; добровольно, осознанно, разумно подчиняется принуждению морального закона и, значит, целиком самостоятельно следует нравственно-должному.

Герои, изображенные Донелайтисом, живут и действуют на ограниченной территории, в пределах литовской деревни. По соседству с ними живут иные народы, но только из ряда лапоточных литовцев

способен взойти вежливый герой. Философия К. Канта не стесняется местными границами, из частного делает общее, универсальное.

Категорический императив, по замыслу Канта, – формулирование того, как должно поступать человеку, стремящемуся приобщиться к подлинно нравственному. Все это, разумеется, разговор о нравственном идеале. В реальной практике вряд ли возможно найти таких людей, которые бы во всех случаях следовали кантовским рекомендациям. Да ведь и И. Кант вовсе не утверждает, что категорический императив с сегодня на завтра делается действенным. Но он настаивает на том, что ничто другое не может быть названо нравственным в высшем смысле слова. Если ты не хочешь сознательно следовать высшему закону нравственности, знай, что ты не только удаляешься от истинно человеческой нравственности, но и наносишь ей ущерб. Литературный «предшественник» И. Канта – К. Донелайтис – находит благоприятную почву для поиска и изображения «правильного пути следования». Именно в литературе открывается простор для эмбрионального, начального изображения нравственного императива.

Обратим внимание, что К. Донелайтис, так же как и И. Кант (вспомним известную цитату: «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, – это звездное небо надо мной и моральный закон во мне»), *viežlybumas*, т.е. своеобразный литературный прототип категориального нравственного императива, применяет на самом себе. В этом нас убеждает литературная декларация писателя:

Unschuld sey mein ganzes Leben
Und mein Wandel Redlichkeit,
Wohl zu thun und gern zu geben
Sey mein ganzes Herz bereit.

Klugheit, - Ernst – und viel Geduld
Gott und Menschen ohn Schein zu lieben;

Niemand auch im geringsten zu betrüben,
 Dieses sey nur meine Schuld.
 (Donelaitis 1977, с. 268)

Полагаем, под такой формулировкой «законодательной» максимы мог подписаться и кенигсбергский мыслитель. Таким образом, К. Донелайтис в чем-то предшествует, предвещает И. Канта. И. Кант всю жизнь провел в пределах балтийского ареала, отвергая работодателей из других университетов Европы, остался верен родной среде. Конечно, мы далеки от мысли, что И. Кант целиком и полностью – «местный продукт». Утверждать подобное было бы верхом безрассудства. И. Кант, движущая сила философической революции, которая не может быть стесняема никакими границами и этниками.

Нашей целью было – указать возможного литературного предвестника. Задолго до И. Канта К. Донелайтис изображал нечто подобное – особую породу человека, героя-вежу. Вежливый бур в самых непростых ситуациях нравственно-этического выбора руководствуется особыми соображениями. В герое-веже К. Донелайтиса можно усмотреть литературный зародыш и художественную реализацию будущего категориального нравственного императива.

Категориальный нравственный императив в форме философемы мог появиться в любом ином уголке мира, но все же нам представляется весьма примечательным, что гений Канта засиял именно на территории Восточной Пруссии. Категориальную этику могла стимулировать балтийская среда (местная литература о вежах) и даже определенного рода языковая предрасположенность. О литовской лексико-семантической категории *viežlybumas* мы уже говорили много и подробно, вскользь укажем на в чем-то близкое явление латышского языка, а именно – категорию дебитива. А. Озолс данную категорию делит на: 1) дебитив синтетический или же функционально «внутренний» (*man jāsaka* «должен, чувствую долг, полагаю за необходимо-подобное сказать что-л.») и 2)

дебитив аналитический или же функционально внешний (*man ir sacīt* «должен, обстоятельствами принужден сказать»). В латышском языке категория дебитива, как полагают, появилась относительно недавно, приблизительно в XII в., под влиянием финно-угорских языков. Вероятно, по этой причине категория дебитива с трудом вписывается в грамматическую систему латышского языка. Не совсем понятно, куда она принадлежит: к категории наклонения или нет [Marvan 1962, с. 253-256; Marvan 1967, с. 127-133]. Дебитив, особенно «внутренний», нам сильно напоминает категорию *viežlybumas*: *man jāsaka – viežlybai pasakyti*. Иными словами: «Меня никто не заставляет говорить, я мог бы и помолчать, но сказать нечто в определенной ситуации значило бы повести себя подобающе, приемлемо, «полезно», как надо (*deramai, tinkamai*)».

В кантологических исследованиях достаточно хорошо изучен И. Кант и современный ему западноевропейский (прежде всего немецкоязычный) научно-философский и литературный контекст. То же самое, к сожалению, нельзя сказать о параллельной культурной составляющей Восточной Пруссии, а именно – литовской литературе и письменности. Полагаем, что именно здесь в будущем можно ожидать интересных открытий.

Выводы

Итак, литовский дифтонг [ie] на месте др.-рус. <ě> характеризует древний слой балтийских славизмов. Форма заимствования – лит. *viežlybumas*, карел. *хювяжести* (<**вѣжество**>) – свидетельствует о том, что в литовский и карельский языки лексема попала еще до того, как противостояние др.-рус. фонем /ě/ и /e/ было нейтрализовано в пользу /e/, т.е. приблизительно до XIII в., в период расцвета былин как жанра. Богатое деривационное гнездо, значительно превосходящее по своему словообразовательному потенциалу язык-источник, побуждает говорить о небывалой востребованности лексемы. За века своего существования

лексическое заимствование успело пустить глубокие корни. О древности и популярности *viežlybumas*, говорит уже одно то, что отражение его мы находим на уровне песенной фразеологии, наименее пригодной для случайных чужеродных вкраплений. Категория *viežlybumas* на самых различных этапах неразлучно сопутствует древней литовской письменности и литературе, а в XVIII в. для классика литовской литературы К. Донелайтиса становится основополагающей поэтологической категорией. Рецепцию *viežlybumas* можно усмотреть в категориальном нравственном императиве И. Канта. Итак, категория *viežlybumas* – это неотъемлемая составная часть письменной и устной литовской словесности, древней и современной культуры, местно-локального и мирового наследия.

В лексикологических исследованиях начала прошлого столетия встречаемся со мнением, будто балтийские языки от славян перенимали лексику материально-бытового характера. Восполняя вакуум, балты якобы заимствовали слова для обозначения актуальных новинок из области торговли и промыслов. В свой черед к славянам эта лексика приходила из «мировых» языков, напр., немецкого, греческого, латыни и т.д. Проводилась мысль, что область духовной культуры в общении древних балтов и славян не была на повестке дня. С пережитками подобного воззрения, к сожалению, сталкиваемся иногда и сейчас («славянские языки – языки посредники» и пр.). Особенно настораживает деление заимствований на две группы: абстрактные и неабстрактные. Подобного рода сортировка несет много субъективного, а значит и сомнительно-опасного. Мы слишком часто заглядываем в прошлое и рассуждаем о неизвестном с перспективы современного носителя языка. Самый разительный пример – древний лит. славизм *bažnyčia* «костел, церковь». С позиции современного человека, мы склонны полагать, что *bažnyčia* – это культовая постройка, куда люди ходят молиться, на богослужение, однако какое значение вкладывалось в это слово в древности? *Bažnyčia* могло и,

по всей вероятности, обозначало место, где пребывает, обитает бог. Было бы трудно придумать более абстрактное понятие, но сейчас *bažnyčia* – по волеизъявлению современных лексикографов – мы воспринимаем на правах конкретно-материальной лексемы. Подобный пример, к сожалению, далеко не единичен.

Пользоваться выражениями «лексема, обозначающая абстрактное/конкретное понятие», конечно же, вполне нормально и целесообразно, нужно однако отдавать отчет их условности. Как бы то ни было, на столь зыбком основании нельзя делать далеко идущие выводы, качественно кодифицировать лексику прошлого. Тысячу лет назад контакты между славянами и балтами были чрезвычайно тесными, и было бы наивно полагать, что обогащение лексического фонда происходило исключительно благодаря заимствованиям из «эволюционно-бытового» пласта лексики.

Категория *viežlybumas*, в ряду прочих примеров, помогает бороться с проявлениями лингвистического популизма. На примере рассматриваемого заимствования убеждаемся, что литовский язык был открыт и для чисто абстрактной номинации. Сравнивая категорию **ВЕЖЕСТВО**/*viežlyvumas* (на материале др.-рус. и др.-лит.), мы сознательно отстранились от решения вопроса, какими путями, посредством чего др.-рус. лексема оказалась в литовском языке. На одну гипотетическую возможность мы все же указали. Вежество поэтизировалось в догосударственном эпосе, позднее уже на государственной стадии развития, в Киевской Руси, были подновлены старые и сложены новые песни о герое-веже. Излюбленная категория *вежества*, ставшая предметом многовекового воспевания, таким образом, могла быть занесена к балтам вместе с фольклорными текстами. В широкой распространенности эпических песен сомневаться не приходится. Былинные аллюзии встречаются в германских и скандинавских сагах, хронике Длугоша, западнославянском фольклоре и т.д. Необходимы дополнительные

исследования, чтобы выяснить, могла ли столь нетривиальная лексика распространиться посредством обыкновенного устно-бытового узуса. Следовало бы продолжить научный поиск в данном направлении. Как знать, может, нам удастся найти доказательства того, что литовцы были действительно знакомы с былинами. Пока что ученые говорят о подобном знакомстве лишь гипотетично: «Nuo XIII-XIV amžiaus, kai susikūrė Lietuvos valstybė, šiekios tokios žinios apie Europos šalyse kuriamus literatūrinius kūrinus pasiekdavo ir lietuvius. Jiems negalėjo likti nežinomos, pavyzdžiui, Vokiečių ordino autorių rašomos eiliuotos kronikos arba rytų slavų bylinos – liaudies epinės dainos apie karžygius» [Jovaišas 2001, c. 13].

Целесообразно наметить еще одну проблему, которая требует решения в будущем. Обозревая абстрактную лексику, замечаем одну любопытную особенность. Абстрактные понятия особенно часто обозначаются словами с др.-рус. *ѣ*: *svietas, biednas, viera, miera...* Что это: случайное совпадение или некая закономерность? И данной проблеме следовало бы уделить особое внимание.

ЧАСТЬ III. РУССКИЕ БЫЛИНЫ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЭПОС К. ДОНЕЛАЙТИСА

Выше мы рассмотрели поведение генетически родственной категории *вѣжество/viežlyvumas* в др.-рус. и др.-лит. словесностях. В разные исторические эпохи возникали и существовали свои памятники о вежах и вежливых деяниях. С перспективы современности взирая на прошлое, мы видим два апофеоза, два древние художественные образования, возникшие на базе рассматриваемой нами категории: былины и эпос К. Донелайтиса. Литовская поэма «Времена года» уже была привлечена нами для того, чтобы рассмотреть реализацию категории *вѣжество/viežlyvumas* на литовской почве. На определенном этапе важно не только дать ответы, но и грамотно поставить, сформулировать вопросы для дальнейшего научного поиска. Ниже постараемся «в первом чтении» осветить проблему генетико-типологической общности былин и сочинения К. Донелайтиса.

Глава 1. Общность поэтики: вежливый герой, метрика, гиперболизм

Идея *вежества* красной нитью проходит сквозь былины и сочинения К. Донелайтиса, тождественно реализуясь в плане выражения и содержания.

До сих пор никто не обратил на это должного внимания. Исследователи древней литовской литературы ограничиваются или анализом нарративной структуры поэмы (А. Jovaišas), или парадигматическим рассмотрением сочинений К. Донелайтиса в контексте просветительской эстетики XVIII в. (L. Gineitis). Особый акцент при этом ставится на новаторстве поэта, на природно-натуралистической эпистеме глубоко этнического и даже «хтонического» автора (V. Kavolis, R. Tamošaitis). В свою очередь былинологи, вероятно, из-за незнания языка оригинала также обходят древнелитовские тексты молчанием.

Типологическая общность русских былин и поэмы К. Донелайтиса на этом не заканчивается. Кроме вежливой характерологии, наблюдаются точки схождения на уровне эпической обрядности.

Былины, так же как корпус исторических песен, духовных стихов, причитаний, исполняются речитативным или же былинным стихом. Былинный стих не рифмованный, с окончаниями женскими или часто дактилическими. Наиболее частый размер – 3-иктный, развившийся из общеславянского 10-сложного стиха. Промежутки между сильными местами (иктами) здесь колеблются от 1 до 3 слогов, так что строки этого размера могут звучать и как хорей («Как во сла́вном было го́роде во Кúеве»), и как анапесты («Как во сла́вном во го́роде Кúеве»), и как дольник («Как во сла́вном го́роде Кúеве»), и как тактовик («Как во сла́вном во го́роде во Кúеве»). У разных сказителей этот размер обладал различной степенью строгости и разнообразия.

Широкое знакомство с былинным стихом произошло в самом начале XIX в., совпало с изданием Кирши Данилова. Интересующиеся былинным стихом однако были и до этого, т.е. до 1804 г. Так, например, Н.А. Львов настаивал на использовании былинного стиха в литературных целях еще в 1794 г.:

Знать, низка для вас богатырска речь
 И невместно вам слово русское?
 На хорях вы подмостилися,
 Без экзаметра, как босой ногой,
 Вам своей стопой больно выступить.
 Нет, приятели! В языке нашем
 Много нужных слов поместить нельзя
 В иноземные рамки тесные.
 Анапесты, спондеи, дактили
 Не аршином нашим меряны,
 Не по свойству слова русского
 Были за морем заказаны;
 И глагол славян обильнейший,
 Звучный, сильный, плавный, значущий,
 Чтоб в заморскую рамку втискаться,

Принужден ежом жаться, корчится

В XX в. народный стих пропагандировал К. Бальмонт. В былинном стихе поэт усматривал предрасположенность русской речи к напевности: «Возьмём ли мы духовный стих, или былинку про богатырей, или народную песню недавнего времени, или «Слово о полку Игореве», или пословицы, поговорки, загадки, или отдельные места летописи, те, где сквозь дымную церковнославянскую слюду просвечивает напевное естество чистого русского языка, или тех создателей и укрепителей русской прозы, язык которых наиболее исконный и первородный, в вольности уставный, великорусский, основной, – Карамзин, Пушкин, Аксаков, Печерский, – или тех поэтов, чей поэтический язык наиболее перед другими близится к народному говору, к народному словесному пути и напевной повадке, – мы везде увидим то, что я называю пристрастием русского языка к дактилизму, перемежаемому хореизмом, или, более по-русски, трехслоговою замедленностью, перемежаемой замедленностью двухслоговой. Я говорю, что напевность великорусской речи, основанной на музыкальной любви русского народа к трёхслоговой замедленности, поражает меня и в простой ежедневной народной речи, и в наилучших образцах нашей литературной прозы, – литературный же стих, наилучший наш стих, как мы, люди образованные, понимаем это слово, по большей части избегает её. Литературный стих, пушкинский, ямбичен, он коротко ударен, а не напевен, он основан на двухслоговой ударности. Былинный же стих и стих народной песни, для литературного слуха, звучит так, что часто представляется лишь певучею прозой» [Бальмонт 1991, с. 243].

Перед глазами литературных критиков был непревзойденный классический сборник Кирши Данилова, поэтому любая стилизация под былинный стих в XX в. подвергалась жесткой критике (напр., реакция В. Брюсова на «народное» творчество К. Бальмонта). Итак, былинный стих

трудно с чем-либо перепутать – он выступает неотъемлемым атрибутом народнопоэтической эпики [Матхаузерова 1976, с. 65-75].

В свой черед произведение К. Донелайтиса создано гекзаметром – одинаково соотносимым с эпическим повествованием. Гекзаметру К. Донелайтиса много внимания уделил проф. А. Гирденис. Досконально изучив поэму, ученый пришел к выводу, что произведение написано не тоническим, а синтетическим гекзаметром, особым «метотоническим стихом» (помимо ударной позиции поэтом учитывается качество слога). Результаты своего исследования ученый обобщает следующим образом: «Toninio ir metrinio principo sintezė – didžiausias Donelaičio atradimas, įkvėpęs heksametrui naują gyvybę. Kiek leido lietuvių kalbos galimybės, poetui pavyko atgavinti nepaprastą šio epinio metro įvairovę bei intonacinį lankstumą. Poemoje, rodos, žaiste žaidžiama įvairių pėdų kaitomis, skiemenų bei žodžių skaičiaus eilutėse variacijomis, žodžio ir pėdų ribomis, cezūrų ir šiaip intonacinių pauzių įvairove... Atsisakius arba kirčio, arba kiekybės, visas šis nepakartojamas statinys subyrėtų kaip smėlio pilis. “Grynas” metrinis heksametras, paisantis tiktai skiemenų kiekybės ir visai užmirštantis kirtį, kaip parodė Gesnerio, Smotrickio ir kitų XI-XVII a. filologų eilivimai, būtų tik popierinė senovės imitacija, o toninė jo atmaina ir dabar atrodo menkas gyvybingiausio Antikos metro šešėlis – blankus ir griozdiškas net geriausių vertimo meistrų tekstuose» [Girdenis 1993, с. 95]. В случае с литовским классиком, таким образом, снова сталкиваемся с уникальным проявлением эпической формы.

Следующая эпическая черта, роднящая былины и К. Донелайтиса, – гиперболизм. О былинном гиперболизме писалось много. Наиболее убедительным нам представляется мотивация А.П. Скафтымова. Автор «Поэтики и генезиса былин» (1924) полагал, что стержнем эпического повествования является «эффект неожиданности»: «былина от начала до конца сохраняет одно и то же стремление удивить, поразить слушателя неслыханным подвигом своего героя» [Скафтымов 1924, с. 63]. Исходя из

этого, особое внимание последователь формальной школы уделяет экспозиции, изображению драматической ситуации, описанию самого подвига, заключительной части песни. Гипербола сопровождает всю былинку (богатырь – не обыкновенный человек, поэтому и его действия чрезмерны: пьет, ни много, ни мало, но полтора ведра; скачет через стену городовую; в детстве, играя, вырывает у сверстников руки-ноги и т.п.), однако совсем особое звучание она получает, когда ею венчается «мотив предварительной недооценки героя».

У К. Донелайтиса механизмы использования гиперболы принципиально иные. Писатель непомерно «злоупотребляет» (A. Jovaišas) гиперболой в целях достижения комического эффекта. Для нас представляет особую важность (в плане типологии), что развернутая гипербола у К. Донелайтиса, так же как и в русских былинах, нередко оборачивается динамизмом повествования: «Donelaičio hiperboles lydi dinamiški sumišimai, kuriuos patiria arba gyvunai, arba žmonės» [Jovaišas 1992, с. 147]. Появление ругающегося вахмистра (*VD*), например, вызывает всеобщее смятение: птицы в испуге разлетаются, лиса, поджав хвост, прячется, лягушки и жабы скачут в воду, сова падает в обморок, а воробьи полуживые валятся с крыши. Переполох, сопровождаемый гиперболизмом изображения, в данном случае знаменует окончание одной повествовательной сцены и переход к другой. Тот же самый прием встречаем в других частях поэмы. В части, именуемой «*Žiemos rūpėsčiai*», гиперболизм приобретает даже героико-комическую окраску:

Pričkui taip šaltyšiskai būrus bemokinant,
 Štai ant ūlyčios toksai pasidarė šūvis,
 Kad ir žemė su visais daiktais padrebėjo,
 O stuboj langai, naujai taisyti, sudrisko.
 Kožnas šūvį tą girdėdams taip nusigando,
 Kad apgaišę tuo keli po suolu nupuolė;
 Bet kiti tarp jų, daugiau turėdami proto,
 Iš stubos Plaučiūno tuo kūliais išsiritė
 Irgi bekapanojant ant kiemo Duraką rado.

Nės Dočys varnienos èst permier užsigeidęs,
 Biedžiui tam glūpam loduotą puloką davė,
 Liepdams, kad jam tuo nušautų dvylika varnų.
 Duraks, paikas vaiks, gaspadoriaus savo paklusęs,
 Varnų mušt tuojaus kiek; reik su puloku bėgo.
 Štai, ant kraiko jis išvydęs didelę varną,
 Šovė taip durnai, kad šaudams uždegė skūnę
 Ir kaimynų tuo visas supleškino trobas;
 Bet ir Duraką puloks perplyšdams pagadino.

Tokiai negandai, žėlėk dieve, nusitikus,
 Tuo pons amtsrots su tarnais visais pasirodė
 Ir tyrinėdams klausė, kaip ugnis pasikėlus.
 Štai kiekviens, širdingai verkdams irgi dūšaudams,
 Dočio neprieteliaus ir varnų jo paminėjo.
 Amtsrots su tarnais, kalbas girdėdami tokias,
 Dyvijos didei ir Dočį bardami spiaudė.
 Bet dar to negana. Raspustą reik koravodint.
 Todėl su lenciūgais jį drūtai surakino
 Ir surakintą taip ant rogių nuvežė sūdyt.

(ŽR, 300-327)

Итак, былины и поэма К. Донелайтиса чрезвычайно близки друг другу своей поэтикой. Гиперболизм стиля и эпическая метрика лежат на поверхности, не нуждаются в специальном растолковании. Немного сложнее дела обстоят с вежливой характерологией. Генетически родственная категория *вѣжство/viežlyumas*, оговоренная нами выше, нуждается в историко-филологическом экскурсе. Перечисленные звенья поэтического строя, органически вписывающиеся в эпические песни и «Времена года», приводят к тому, что русский эпосовед, знакомясь с текстом литовской поэмы, в мыслях неизбежно обращается к старинам и наоборот.

Существует, однако, еще одна немаловажная «основа сравнения» – общая структура нарратива, которая позволяет перейти с плоскости абстрактно-универсальной типологии, в генетико-интертекстуальное измерение.

Глава 2. «Времена года» – проблема жанра. Литературный эпос и старина «Птицы»

Изучение цикличности «Времен года» до сих пор таит много неясностей. Несмотря на длительную традицию изучения, окончательно не установлено, на какие источники опирался К. Донелайтис, что стало определяющим при выборе годовой композиции и, соответственно, непривычного четырехтактного сюжета.

Современная донелайтиана, как правило, исходит из непоколебимой уверенности в античных или же литературных корнях произведения. Исследователи, согласные с такой трактовкой, акцентируют классическое образование, полученное в стенах Кенигсбергского университета. Восприятие «Времен года» сквозь призму антики в некоторых случаях, например, на уровне метрической организации стиха, себя вполне оправдывает [Girdenis 1989, с. 1993; Trost 1995, с. 210-213]. В иных областях – риторика, жанр произведения – выводы часто уже не кажутся абсолютно бесспорными.

В качестве ближайшей античной параллели к «Временам года» по традиции приводят сочинение Гесиода «Труды и дни». При ближайшем рассмотрении однако оказывается, что «стоящие в одном ряду» произведения на самом деле имеют очень мало общего. То же самое, только в еще более категоричной форме, можно сказать о Вергилии, буколические идиллии которого претят духу К. Донелайтиса. Леонас Гинейтис, досконально изучивший взаимосвязь с античной литературой, пришел в свое время к неутешительному заключению, с которым и сейчас остается только целиком согласиться: «*visas detalesnes “Metų” analogijas ar paraleles su antikais autoriais reikia vertinti labai reliatyviai*» [Gineitis 1990, с. 366].

По устоявшемуся мнению, сочинение К. Донелайтиса стоит ближе к т.н. природо-описательной поэме. Основоположником жанра считается Джеймс Томсон (James Thomson, 1700-1748), дидактическая поэма

которого «The Seasons» (1730) носит определенные черты структурного подобия. Однако и здесь присутствует одно осложнение: неизвестно, был ли с ней вообще знаком К. Донелайтис, неясно и то, знал ли писатель о продолжателях Д. Томсона. Современная наука осторожно утверждает: «beveik neabejotina, kad šiuos kūrinis Donelaitis galėjo žinoti», но знал ли в действительности – большой вопрос, так как в пору их появления в печати и их весьма условной «доступности», писатель был отрезан от культурно-академических центров, вел затворнический образ жизни и поэтому с трудом мог приобщиться к экзотичным новинкам мировой литературы.

Налицо определенный парадокс. То, что писатель наверняка хорошо знал по университетскому курсу, как по форме, так и по содержанию практически во всем (за исключением метрических основ) противоречит его творчеству. Поверхностное, композиционное подобие просматривается в современных ему литературных памятниках, однако знакомство тольминкемского отшельника с ними представляется весьма неправдоподобным.

. Как бы то ни было, английские, французские, немецкие, польские «похожие» параллели середины XVIII в., обращающее на себя внимание в связи с произведением К. Донелайтиса, представляют собою античное крыло в развитии западноевропейской литературы, а, значит, и здесь научный поиск устремляется по пути привычной «антикизации»* древнелитовского материала.

Итак, обозревая труды, посвященные изучению творческого наследия К. Донелайтиса, мы неизбежно сталкиваемся с односторонностью научного поиска. Редко какая монография обходится без главы об античных и западноевропейских литературных корнях, с другой стороны, обидно мало внимания уделяется фольклоризму «Времен года». Ниже предложим принципиально иной подход к объяснению данной проблемы. Ответ на вопрос о жанровой, структурной природе

* Данный термин употребляем вслед за чешским балтистом Павлом Тростом [Trost 1995, с. 210-213].

«Времен года» попытаемся отыскать посредством устной словесности и материалов древнеславянской письменности.

Малая Литва с давних времен была территорией полиэтнической. Экскурс в прошлое, особенно после монументального исследования Л. Гинейтиса «*Kristijono Donelaičio aplinka*» (1998), излишен, ограничимся общеизвестным: трагическая колониальная история древнепрусского ареала неизбежно превратила край в хаотический перекресток культурного взаимодействия. Существование бок по бок с представителями отдаленных культурных традиций запечатлено, иногда нравоучительное (VD: *Moters! jūs lietuvninkės, ar jau nesigėdit, / Ar nesigėdit, kad jums vokiškos moteriškės / Su dailiais darbais ant lauko gėdą padaro?*), а подчас и настораживающее (VD: *vokiečiai glupoki*; RG: *Nei koks žakas lenkiškas po suolu nupuolė*; ŽR: *Kad koks lenkiškas ar žydiškas balamūtas / Taip nesvietiškai klastuot ir vogt užsimano / Ar kad vokietis koks, vokiškai pameluodams*; ŽR: *prancūzpalaikis, riebių varlių prisiėdęs*), в тех же «Временах года». Само за себя говорит и имя литовского классика: *Donelaitis* – патронимическая форма из вост.-сл. *Donela* [Jablonskis 1912, с. 92]. К сожалению, многоликий фольклор Малой Литвы, так никогда не получив соответствующей письменной фиксации, фактически остается для нас практически неизвестным. За неимением надежных свидетельств можем лишь догадываться, как выглядела народная рукописная традиция, что из себя представляла устная словесность «литвинов», «поляков», немцев и других народностей Малой Литвы.

Древнерусское «Сказание о птицах» (или «Птичий совет», «Птицы»; далее просто *сказание*) и старина «Птицы», с которыми ниже будем сопоставлять «Времена года», принадлежат к интереснейшим, но до сих пор недостаточно изученным, а потому и во многом загадочным древним памятникам словесности. Оба произведения по подобию «Весенних радостей» из «Времен года» построены в форме *диалога между птицами*.

В «Сказании» затрагивается целый спектр вопросов: о грехах, о покаянии, о будущем суде, о социальном положении, о воровстве, пьянстве, злых женках и т.д. Как правило, от каждого пернатого исходит отдельная сентенция, а, так как птиц бывает очень много (птичий перечень иногда достигает 77 названий), сказание получается длинным и чрезвычайно назидательным.

В былине «Птицы на море» птичий диалог приобретает качественно иное подобие. Слово предоставляется далеко не всем птицам. Издалека из-за дунайского моря, из тихого зеленого лукоморья обыкновенно прилетает некая птаха, вокруг нее собираются русские собратья, и диалог ведется между заморской гостьей и старожилками. Более говорливой оказывается заморская птица. Основное внимание в разговоре уделяется не нравованию, а описанию сословного устройства Руси: каждой птице присваивается определенная социальная роль, свой род занятий, своя характеристика.

Основную трудность вызывает авторизация сказания и былины. На 1989 г. было известно 14 списков «Сказания», которые отличались друг от друга и содержанием, и расположением сентенций, и объемом [Михалина 1989, с. 387-389]. Разнообразие списков, как утверждают некоторые исследователи, должно было бы свидетельствовать о продолжительной литературной истории памятника, однако все до сих пор обнаруженные тексты не преодолевают границ XVII-XVIII вв. Этот факт кажется странным и труднообъяснимым по отношению к древнему произведению, каковым традиционно считается «Сказание». Было бы можно найти серьезные аргументы в пользу фольклорных истоков рукописного «Птичьего совета». Позволим не согласиться с тем, что разнообразие списков обязательно свидетельствует о долгом литературном пути. Это совсем не обязательно. Текстологическая пестрость вполне объяснима устной природой произведения: в разных местах и, может быть, в разное

время появлялись отличные литературные обработки-редакции, базирующиеся на отличных региональных песенных изводах.

Обращает на себя внимание русский, украинский языки сказания. Языковую дифференциацию отметил первый исследователь этого памятника Х. Лопарева: «А [Список сказания, принадлежащего Археологической комиссии] написано на южно-великороссийском наречии, близком к малорусскому и западно-русскому» [Лопарев 1896, с. XXI]. Мысль Х. Лопарева позднее развил А.В. Багрий: «Правильнее было бы утверждать, что А написано на малорусском языке с примесью польских выражений и форм (що, жунка, була, бували, буты, вже, пришол, поп'ємося, забудемо, з иншими, с пекла; чыныла, такъ; албо, маю, жадного, мовит, мешкали, вельми, естем, гды, цнотливи»)» [Багрий 1912, с. 290]. Ряд подобных примеров можно было бы продолжить. На основании малорусских и западнорусских особенностей языка большинства списков ученые высказали мнение, что местом составления Сказания является Западная Русь [Багрий 1912, с. 308; Франко 1896, с. 24].

Языковые особенности с последующей «локализацией» произведения ценны для нас в двух отношениях. Во-первых, они фактически отсылают к территории сопредельной с Малой Литвой. Сказание бытовало не исключительно на Русском Севере (параллельно с былиной), а в непосредственном географическом соседстве с К. Донелайтисом (Западная Русь, Польша).

Во-вторых, язык произведения, опять-таки косвенно, указывает на фольклорную природу сказания. Очень легко предположить, что некогда существовала песня, известная в разных частях Руси. Основываясь на региональных песенных редакциях, «Птичий совет» на тех же самых «фольклорно-местных» языках был занесен в анналы региональной письменности. Этим объясняется структурное и языковое разнообразие списков. Было бы большой натяжкой предполагать, будто древнее литературное произведение (по мнению некоторых исследователей,

уходящее своими корнями к XIV в.) сохранилось только в списках XVII-XVIII вв., причем (в этом весь и парадокс) из столетия в столетие на огромных просторах удержало славу и письменно передавалось не в языке рукописного оригинала, а на живом местном наречии.

По мнению А.В. Багрия, сказание, былина, известная песня «За морем синичка непышно жила» – таковы эволюционные вехи одного произведения, начальный вид которого утерян. Вполне вероятно, что произведение развивалось в обратном направлении, от фольклора к литературно-рукописной традиции. Вопрос генетической взаимосвязи сказания и былины в научной литературе окончательно не решен. В нашем случае это не настолько и важно. Для целей нашего исследования пока не суть важно, как, что из чего мы будем возводить: сказание из былины или былину из сказания. В XVII-XVIII вв. «Птицы» были одинаково известны как в литературной обработке, так и в фольклоре, приобрели хождение как в *назидательном* рукописном оформлении, так и в *балагурно-сатирической* форме старинки. Во-вторых, произведения были распространены от северо-восточных окраин Речи Посполитой и самых западных рубежей России до Прионежья и Кенозера. В-третьих, взаимосвязь сказания и былины, несмотря на то, что пока не удалось установить ее природу, очевидна, однако не менее заметны существенные отличия между ними. Простор, отделяющий сказание от старины, и разнообразие списков сказания, бесспорно, говорят о том, что существовал целый ряд переходных звеньев, до нас недошедших.

У К. Донелайтиса, как будет показано ниже, мы обнаруживаем черты сходства и с литературной, и с фольклорной реализацией произведения, хотя большее тяготение автор испытывает все же к фольклорным обработкам.

Близость сказания и «Времен года», как уже было отмечено, проявляется на уровне структуры. Между собой беседуют птицы, в их уста вкладываются морализирующие высказывания. Первая группа

высказываний затрагивает отношения птиц (т.е. людей) с Богом: сентенции о покаянии, о богоугодных трудах, о воле Божьей, о невольном грехе, об избежании зла, о забвении Бога, о смертном часе и т.д. Вторая группа оговаривает случаи обыденной, бытовой жизни. Здесь мы встречаем рассуждения о воровстве, о неплатеже долгов, о недоверии, лени, пьянстве, о глупости и разуме, о женах добрых и злых, о противоположности доброго старого времени нынешнему, о запашивости и два сентенции с картинками из боярской жизни. Достаточно краткого перечня, чтобы отметить тематическую переключку с «Временами года». Подобные сентенции у Донелайтиса раздаются из уст птиц (цапли в «Весенних радостях») и буров, с которыми птицы напрямую отождествляются (конкретный пример отождествления см.: *PL Dikšas* и *Krizas-lakštingala*).

Размышления, идущие от писания, в сочинении К. Донелайтиса не обязательно восходят к древнерукописному сказанию. Догматическая часть, вполне возможно, определяется церковной литературой тех лет [Gineitis 1990, с. 350-375], поэтому мы их здесь опустим. Среди светских назиданий находим соответствие в тождественно-идиллическом изображении прошлого (VD: «Ak! kur dingot jūs, barzdotos mūsų gadynės, / Kaip lietuvninkės dar vokiškai nesirėdė / Ir dar vokiškus žodžius ištart negalėjo»). В Сказании: «Дрозд рече: Древняя люди были разумные: и Богу угодили и нам образ оставили, как жить, а мы добра не перенимаем, а дурно без учения знаем». В другом месте: «в нынешних в последних временах у людей правда вывелась». Противопоставление разумных и неразумных соответствует у Донелайтиса сличению вежливых героев и невеж (*viežlybieji – nenaudėliai, žioplis*).

С особой остротой и в сказании и в литовской поэме порицается лень. Примечательно, что у К. Донелайтиса критика «штатного» лентяя Слункиса следует непосредственно после птичьего совета. В птичьем же сказании читаем: «Лебедь (своего рода – аналог морализатора Причкуса)

рече: Лежа нам, братия, добра не нажить, а горя не избыти, спасения не получитьи, и в дому господином не слыти: надобно работати Богу и добрым людем, так и сыты будем». Далее: «Кречет рече: Крепко мы, братие, спил, до позда, рано спим, да еще бы нам Бог дал добра! А ведаем то, чтоб под лежащий камень и вода не подтечет». Одинаковое недовольство авторов сказания и «Времен года» вызывает неподготовленность некоторых крестьян к зиме: «Снигирь рече: Снеги напали, а у лениваго ленивца нет ни шубы ни сермяги; как ему будет зима зимовати?» С другой стороны см. жалобу Блекюса на нехватку продуктов (*PL*, 553-566) и реакцию на нее Причкуса (*PL*, 567-589), поучение Лауринаса (*RG*, 393-437). Параллельных мест можно было бы при желании привести больше, однако сами по себе они, конечно, далеко не обосновывают генетическую взаимосвязь произведений. Мы обязаны считаться с возможностью, что тематический параллелизм отдельных сентенций развился независимо. Единственное, что укрепляет предположение о интертекстуальных взаимосвязях сравниваемых текстов это художественная форма птичьего диалога и то, что весьма значительный массив сходных тематических блоков приходится на первую часть поэмы, а именно – на «Весенние радости».

Перейдем к близкородственному произведению словесности – былине «Птичий совет». Как было сказано выше, старина носит шутливый, балагурно-скомороший вид и в ярких красках повествует о социальном, сословном складе на Руси. Морализаторский, назидательный тон, если стать на позицию литературного происхождения произведения, целиком сглажен.

Песня, как и «Весенние радости», начинается с изображения птичьего слета. У Донелайтиса:

Taip sumišai besijuokiant, štai ūžims pasikėlė
 Ir tuojaus erelis rėkaudams pasirodė.
 „Tič, - tarė jis, - pulkai susirinkę, liaukitės ošti
 Ir tikrai klausykit, ką mes jums pasakysim.“

Štai tuojaus visi pulkai, girdėdami šauksmą,
 Iš visų pašalių susilėkė jam pasirodė:
 „Štai mes, jūs tarnai! Ką velys jūsų malonė?" -
 „Mes, - atsiliepdams jiems erelis, - norime tardyt...
 (PL, 155-162)

Сцена изображения птичьего собрания необходима К. Донелайтису композиционно: по аналогии с ней он позднее изображает крестьянскую сходку. В старине изображение слета птиц передается следующим образом:

Издалека из-за дунайского моря,
 Как из тиха из зелена лукоморья,
 Налятала тут малая заморская птица,
 Заморская птица певица,
 Над русскими птицами царица,
 Садиласи она не на плохое дерево на калину,
 Она стала жупить говорити,
 Уж как мал соловей чоботати,
 Русских птиц собирати,
 Сляталися русские птицы,
 Русские птицы синицы,
 Оне стали жупить говорити,
 У заморские птицы вопрошати:
 «Ах ты, матушка заморская птица,
 Заморская птица певица,
 В вас на море в лукоморие,
 В тихое в зеленоем заводе,
 Кто у вас на море большей,
 Кто у вас на море меньшей?»
 Ответ держит заморская птица...
 Запись XVIII в. *Смолицкий, Тургенева*

или

На славном на Дунайском мори
 Солитались малыи птици-пивицы,
 Садились птицыньки рядами,
 Вмести носамы-головамы,
 Стали оны пити-жупити,

Всю свою компанию веселити,
 Всих к себе птиц прикликати,
 Кто у нас на мори, у нас большой?
 Кто на дунайском меньшой?

ОБ № 180

Далее все внимание певцов концентрировалось на изображении социальных ролей:

Все птички по службам,
 Все птички по работам...
 Сизой орел на море Владимир,
 Лебеди на море цари...
 Гуси на море князи...
 Голуби на море дворяна...

Далее – с одной стороны, название птицы, а с другой род ее занятий: поп, пономарь, просвирня, перевозчик, целовальник, кабацкая женка, рыболовник, повар и т.д. Перечни профессий в русских песнях чрезвычайно нестабильны, и это вполне понятно. В зависимости от времени и даже от исполнителя менялись, сокращался, дополнялся, профессиональный словарь. Например, в сборнике П.В. Шейна находятся т.н. «Чины на море разным великим и малым птицам», явно относящиеся к репертуару военного морского человека: в перечне профессий фигурируют капитан, поручик, прапорщик, сержант, капрал, рудомет, фульер, барабанщик, гранатчик, трубач, навигатор, штурман, шкипер, боцман, мичман, конопатчик, командор и т.д. В других, например, казацких вариантах фигурируют есаульный, подъесаульный, десятский, казаки и т.д.

Таким образом, ввиду нестабильности профессионального подбора, мы не можем ожидать полного соответствия между родом занятий птиц у Донелайтиса и в старине. Для нас важно то, что во «Временах года» птичья иерархия подчинено таким же сословным, профессиональным измерениям. Орел – монарх, соловей – по голосу королева, а по облику – бурас, воробьи – крестьяне, аист – хозяйственные птицы (*gospodotius*), к

категории разбойников (*razbainiks*) отнесен ястреб, сова его советник (*dumčius*), летучая мышь соотнесена с тем, кто что-либо расследует (*tirinédams*), а сова с тем, что разносит в результате обыска полученные новости и т.д. Социальная природа птичьего собратства напрямую закреплена в монологе аиста. Аист на призыв орла отвечает:

„Dievs, - tarė, - svieta šį sutverdams ir budavodams,
 Daugel tūkstančių gyvų sutvėrimų leido
 Ir kožnam savo valgį bei gyvatą paskyrė;
 Juk visur, kur žiūrim tikt, dyvai pasirodo.
 Pulką šį sutvertojis į vandenį siuntė,
 O anam ant orų plaukt sparnus dovanojo.
 Daug gyvų daiktų po medžiais girėse slapos;
 O kiek ant laukų linksmai plezdendami laksto
 Ar pas žmones ant kiemų čypsėdami burzda!
 O vei kožną dievs vis su pasimėgimu sotin.
 (PL, 173-181)

Выше сказанное представляет интерес с точки зрения типологии, структурного подобия, однако навряд ли бы мы свели свои рассуждения в интетекстуальную плоскость, если бы не еще одно весьма замечательное структурное соответствие.

Соответствие касается годовой цикличности. Пример Томсона (*The Seasons*) кажется слишком далеким, физически недостижимым для К. Донелайтиса. В смысловом плане английские и литовские «Времена года» – небо и земля. Тематическая, смысловая же близость между древним сказанием/былиной и поэмой Донелайтиса не вызывает никакого сомнения. И там и здесь нет и следа от буколической пасторали, пастушьей идиллии и т.д. Повествование приземленно-реалистично, назидательно, притом одновременно не лишено сатирического эффекта. Весь же текст кульминирует изображением годового цикла.

В старине «годовая композиция» присутствует на правах зачина. Органическую связь песенного пролога с последующим изложением выявили В.Г. Смолицкий и Т.А. Тургенева: «Вступление является

органической частью всего произведения, без него нельзя достаточно полно понять идейный смысл этой пародии на общественный строй. «Сказание» начинается с изображения непоколебимой последовательности смены одного времени года другим. Этому прочному порядку в природе «соответствует» порядок в жизни людей, общественный порядок» [Смолицкий, Тургенева 1961, с. 500-511].

Вступление к старинке о птицах звучит следующим образом:

От чево ди зима становилась, –
 Становиласи зима от морозов,
 Потомуже наставала весна красна,
 По весны пошло лето тепло,
 По лете осень *богата*,
 Крестьяне стоги склали,
 Им жить хорошо прокладно...
Смол., Тург.

Или

Отчего, братцы, зима становилась?
 Становилась зима от морозов.
 Отчего, братцы, становилась весна красна?
 Весна красна становилась от зимы холодной.
 Отчего братцы становилось лето тепло?
 Становилось лето тепло от весны от красной.
 Отчего, братцы, становилась осень *богата*?
 Осень богата становилась от лета от тепла.
 Покладут крестьяне стоги,
 Им жить хорошо,
 Хорошо, и прохладно, и весело.
Рыбн. № 77

А почему-то зима да становилась?
 Становилась-то зима да от морозу.
 А от той ли от зимы да от холодной
 Настала у нас да весна *красна*.
 А по той ли весны у нас по красной
 А настало у нас лето тёпло.
 По тому ли по лету по тёплому

Настала у нас да осень *богатая*.
 А по той ли богатой по осени
 Собирались вси русьскийи птицы...
 ОБ № 220

Если наше сопоставление «Времен года» с эпической стариной справедливо, не являются ли названия частей поэмы (*Pavasario linkmybės – Vasaros darbai – Rudenio gėrybės – Žiemos rūpesčiai*), точнее определения в них содержащиеся, отражением или развитием данной песенной годовой вязи (песенных эпитетов)?

Итак, мы мы показали, что сравниваемые произведения в пору создания «Времен года» бытовали в рукописной литературе и устной традиции на огромной территории. Западные границы распространения «Сказания о птицах» достигала территорию сопредельную с Пруссией. Одновременно мы выявили идейную, тематическую и структурную взаимосвязь сопоставляемых памятников. В заключении укажем на чрезвычайно высокий литературный потенциал восточнославянских аналогов. Будучи удобной, пластичной и высокохудожественной формой, сказание и былины уже с XVII в. используются в сугубо литературных целях. К XVII в. восходит т.н. «Слово о птицах». Данное литературное произведение любопытно тем, что древняя основа снизошла здесь до простого введения:

«Был збор птичей, о теплоте Богу молилися птицы, а православные крестьяне о царе.

Собрашася птицы все большие и малые.

Лебетька птица рекуще тако:

Птицы! Соберемся вси и помолимся Спасу Вышнему, Творцу, сотворившему всю тварь, Господу Саваофу, чтобы нам устроил Господь Бог лето без зимы, чтобы мы за море не летали и детки бы наши за морем не погибали.

Такожде и собирашеся вси князи и бояря и вси православное крестьянство и рекуще тако: ...» [Михалина 1989, с. 387-389].

Литературное преломление, продолжение «Птичьего совета» находим у Сумарокова в «Хоре к превратному свету», у Пушкина в «Сказке о медведихе», у Островского в прологе к пьесе «Снегурочка»... На огромную востребованность песни в широком европейском контексте указывает дневник-словарь Ричарда Джеймса [Ларин 1959, с. 265]. Сделанная им в 1619 г. запись старинки считается самой ранней (хранится в Оксфордской библиотеке). Благодаря любопытству английского миссионера, старинка достигла берегов туманного Альбиона и своим неожиданным проникновением в далекие культурные традиции разрушает стереотип о непроницаемости границ.

Тематическая близость, формальное сходство (форма птичьего совета, годовая композиция) – на основании всего этого К. Донелайтиса позволительно отнести к продолжателям той же самой традиции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В предшествующих двух частях диссертационного исследования мы углубились в историю категории *вѣжество/viežlyvumas* в двух культурных традициях: литовской и русской. Суммируя выводы, можно составить следующую картину. Вост.-сл. эпос представляет собой сложное образование, меняющееся, динамично эволюционирующее вместе со временем. Благодаря традиционализму, текстовой устойчивости, установке петь «истово» [Матхаузерова 1976, с. 69], былины вплоть до XX в. сохранили как реликтовые черты, унаследованные из глубокой древности, так и черты-особенности новых исторических эпох. Для архаического, догосударственного эпоса *вежество* было аналогом чудесных знаний. Вежливый персонаж – ведьмак, колдун-вежливец. Именно такие особенности были когда-то закреплены и за протообразом Добрыни.

В новой исторической обстановке старые атрибуты по инерции сохраняются, но сам образ вежливого богатыря переосмысливается. В период IX-XII вв. эпический герой, например, сохраняет свою постоянную качественную характеристику – эпитет *вежливый* (= *вещий*), но по требованию нового «пользователя» получает уже новое имя, характеризующее героя новой эпохи. Имя собственное *Добрыня* отсылает нас к *подобающим* (**добным*, *удобным*), правильным поступкам. Старые сюжеты преобразуются, создаются новые. В них повествуется о вежливо-подобающем поведении. Возникают «зеркальные повествовательные конструкции», изображающие вежливые и невежливые модели поведения («Илья Муромец в ссоре с князем Владимиром» – «Василий Буслаев и Новгород»)..

Именно в это время, в период сложения былин как жанра, наблюдаем экспансию вост.-сл. эпических песен в словесность других народов. Уже В. Ягич обратил внимание на реликты былин и «след» Добрыни в скандинавских сагах и др.-нем. литературе: поэма Ломбардского цикла «Ортнит», норвежская Тидрек-сага. Сюжеты и образ Добрыни здесь

совмещаются с фигурой *вежливого* (*kurteisliġr, kurtoeislaigr*) *Ilias von Riuzen*, который, как и былинный Добрыня, добывает для Владимира, *Valldimar* – король *Ruzsiland*, невесту [Ягич 1878, с. 140-270]. Отражение былинной сюжетики находим у Длугоша («Иван Гостиный сын»). Путиами торгового, культурного кругообмена (В. Ягич) идея *вежества* и эпический *вежливый* герой, по всей видимости, попали и к балтам.

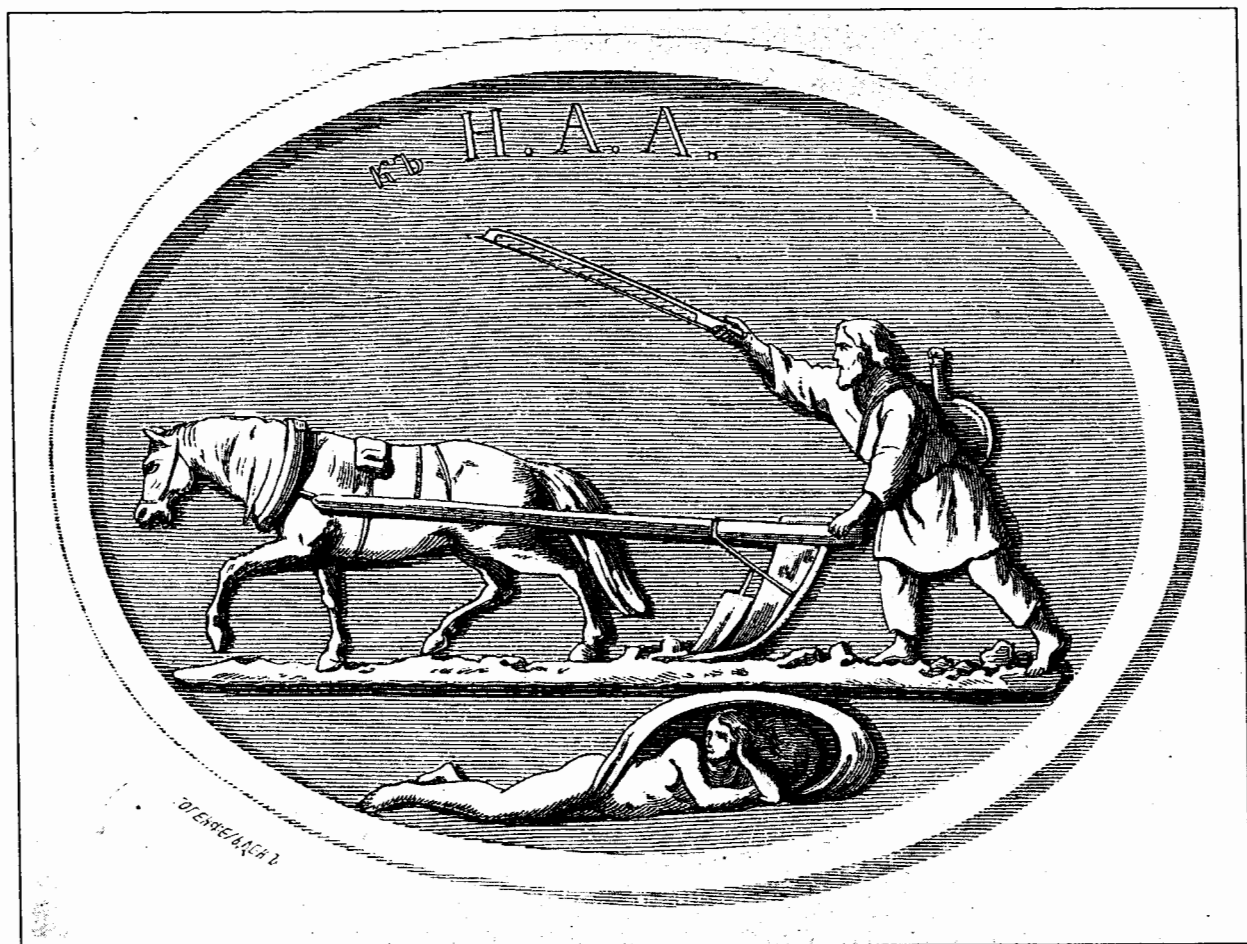
В новой культурной среде категория *viežlyvumas* пустила глубокие корни. Не будем повторять промежуточные выводы о ее широкой распространенности и живучести в фольклоре, древнелитовской литературе и письменности, языке (см.: ч. II). Вместо этого обратим внимание на иную важную лингвистическую особенность. Категория *viežlyvumas*, так или иначе, несет в себе значение дебитива, т.е. долженствования. В отличие от граматикализованного латышского дебитива категория *viežlyvumas* реализовывалась благодаря использованию устойчивой лексико-синтаксической модели: *viežlyvai + inf., partic.* (ср., напр.: *viežlybai pasakyti – man jāsaka*). Обращает на себя внимание, что литовская категория *viežlyvumas* и латышский дебитив появляются приблизительно одновременно. Можно придти к заключению, что значение дебитива, отлично реализованное в балтийских языках, в XI-XII вв. пользовалось спросом, требовало своего формально-языкового выражения. Специальное сопоставление категории *viežlyvumas* и дебитива – дело будущего.

С перспективы современности взирая на XIX век, без преувеличения можно сказать, что данное столетие началось в знамении «Даниловых»: Кирши Данилова и Кристионаса Донелайтиса. Между выдающимися памятниками словесности, возникшими в середине XVIII в., прослеживается тесная взаимосвязь. Сибирское эпическое собрание с литовскими «Временами года» роднит общность поэтики. Помимо общей вежливой характерологии, обнаруживаем структурное, жанровое тождество (К. Донелайтис и былина «Птичий совет»). Выявленные

поэтологические особенности позволяют поставить вопрос о интертекстуальной взаимосвязи между вост.-сл. эпикой, с одной стороны, и К. Донелайтисом, с другой. Нельзя исключить возможность, что вплоть до XVIII в. происходила «подпита» категории *кѣжество/viežlyumas* со стороны русского эпоса. К такому выводу, кроме всего прочего, нас побуждает возможность славянского происхождения К. Донелайтиса (< *Donėla*).

ПРИЛОЖЕНИЯ

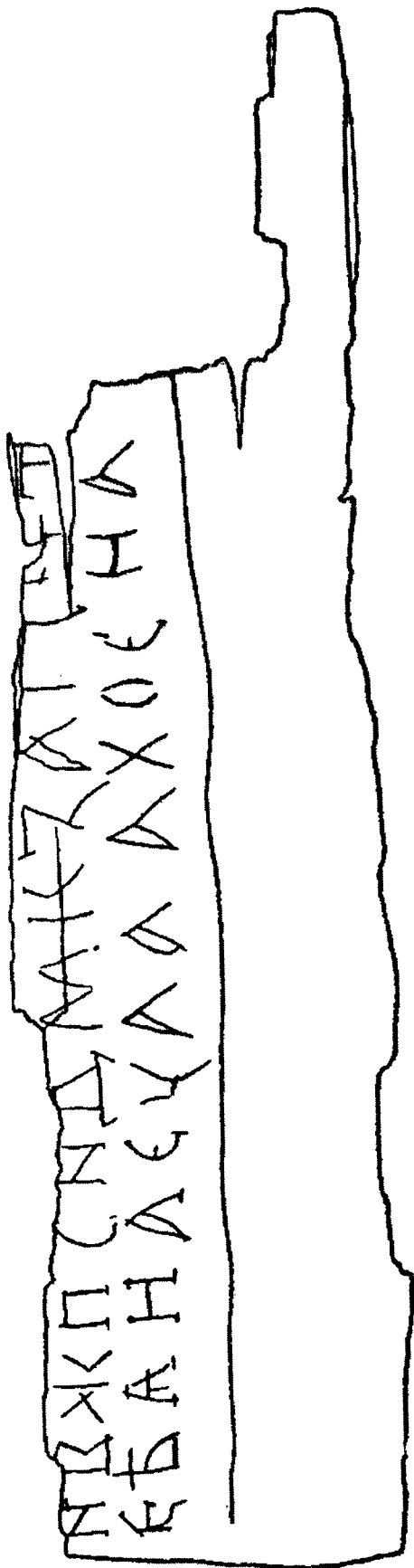
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1



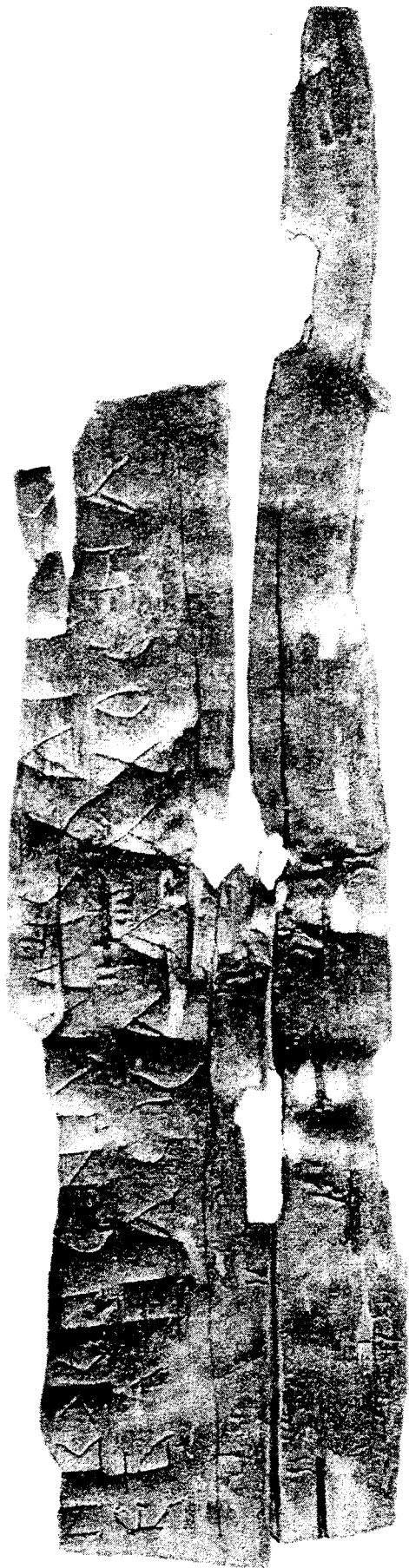
Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. Т. I. Ч. I. С. 515. Вверху гравюры: къ Н.А.Л., т.е. «к Н.А. Львову». Объяснение к рисунку: «Крестьянин русский спокойно пашет, имея за плечами гудок и погоняя лошадь смычком; в недрах земных опочивает Счастье». Автором гравюры мог быть сам Н.А. Львов. Изображен литературный образ вежливого Добрыни, с которым Н.А. Львов себя самоидентифицирует. Ср.: «Виденье работать пошло, / Покачавши головой своей. / Тут на месте, где герой стоял [Добрыня – И.Л.], / Я нашел с смычком некрашенный, / На разлад гудок нестроенный. / Я гудок взял не знаю как; / Задержбил на чудной лад»; «Поклонился я приворотникам, / Поселился жить в чистом воздухе / Посреди поля с православными. / Я прижал к сердцу землю русскую / И пашу ее припеваючи: / Позовут меня – я откликнуся, / Оглянуся, но не знаком никто / Ни одеждою, ни поступками».

Текст:

нвжлпндмкзатсцт
ефаиаеуааахоена



Прорись грамоты № 46



СВЯТОСЛАВСКАЯ СОКРАЩЕННАЯ



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- Аст. – Былины Севера. 1938-1951. Москва, Ленинград.
- БПЗБ – Былины Печоры и Зимнего берега: Новые записи. 1961. Москва, Ленинград.
- Гильф. – Онежские былины, записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года. 1949-1951. Москва, Ленинград.
- Григ. – Архангельские былины и исторические песни, собранные А.Д. Григорьевым в 1899-1901 гг. Москва, Прага, СПб.
- Гул. – Былины и исторические песни из Южной Сибири (записи С.И. Гуляева). 1939. Новосибирск.
- ДиА – Добрыня Никитич и Алеша Попович. 1974. Москва.
- КД – Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. 1977. Москва.
- Кир. – Песни, собранные П.В. Киреевским. 1860-1864. Вып. 1-6. Москва
- Леонтьев – Печорские былины и песни (записал и составил Н.П. Леонтьев). 1979. Архангельск.
- Марк. – Беломорские былины, записанные А.В. Марковым. 1901. Москва.
- Мил. – Русские былины новой и недавней записи из разных местностей России. 1908. Москва.
- Онч. – Ончуков, Н.Е. 1904. *Печерские былины*. СПб.
- ОБ – Онежские былины. 1948. Москва.
- Рыбн. – Песни, собранные П.Н. Рыбниковым. 1909-1910. Т.1-3. Москва.
- СДЯ – Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) в 10 т. Москва.
- Соб. – Соболевский, А.И. 1895. Великорусские народные песни. Т.1. СПб.

- СРНГ – Словарь русских народных говоров. Ленинград.
- СРФ – Свод русского фольклора. Былины в 25 т. Т. 1-4. 2001-2004. СПб., Москва
- СРЯ XI-XVII – Словарь русского языка XI-XVII вв. Москва.
- Сок,-Чич. – Онежские былины. 1948. Москва.
- ССРЛЯ – Словарь современного русского литературного языка.
- Тих.-Мил. – Русские былины старой и новой записи. 1894. Москва.
- Kalvaitis – Kalvaitis, V. 1989. *Prūsijos lietuvių dainos*. Vilnius.
- LKŽ – Lietuvių kalbos žodynas. Vilnius.
- PL – Pavasario linksmybės («Радости весны») из «Времен года» К. Донелайтиса.
- RG – Rudenio gėrybės («Блага осени») из «Времен года».
- VD – Vasaros darbai («Летние труды») из «Времен года».
- ŽR – Žiemos rūpesčiai («Зимние заботы») из «Времен года».

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

РУКОПИСНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Lietuvių kalbos instituto Tarmių, Leksikologijos skyriai;

Lietuvos Mokslo akademijos bibliotekos Rankraščių skyrius;

Российский государственный архив древних актов в Москве (РГАДА);

Институт русского языка им. В.В. Виноградова (Москва) – Каталог
русского языка;

Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом)
Российской АН.

Личная коллекция – экспедиционные материалы 2001-2004 гг.
(Архангельская обл., Карелия, Kražiai...)

ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Архангельские былины и исторические песни, собранные А.Д.
Григорьевым в 1899-1901 гг. Москва, 1904. Т.1; Прага, 1939. Т.2;
СПб. 1910. Т.3.

Беломорские былины, записанные А.В. Марковым^{М/}. Москва, 1901.

Былины в записях и пересказах XVII-XVIII вв. / Изд. подгот. А.М.
Астахова, В.В. Митрофанова, М.О. Скрипиль. Москва;
Ленинград, 1960.

Былины в двух томах / Подгот. текстов, вступит. статья и коммент. В.Я.
Проппа и Б.Н. Путилова. Москва, 1958. Т. 1-2.

Былины и исторические песни из Южной Сибири / Записи С.И. Гуляева.
Новосибирск, 1939.

Былины М.С. Крюковой / Записали и комментировали Э. Бородина и Р.
Липец; Вводная статья Р. Липец; Редакция и предисловие Ю.
Соколова. Москва, 1939. Т. 1-2.

- Былины Печоры и Зимнего берега: Новые записи / Изд. подгот. А.М. Астахова, Э.Г. Бородина-Морозова, Н.П. Колпакова, Н.К. Митропольская, Ф.В. Соколов. Москва; Ленинград, 1961.
- Былины Пудожского края / Подгот. текстов, статья и коммент. Г.Н. Париловой и А.Д. Соймонова. Петрозаводск, 1941.
- Былины Севера / Записи, вступ. статья и коммент. А.М. Астаховой. Москва; Ленинград, 1938-1951. Т. 1-2.
- Добрыня Никитич и Алеша Попович / Изд. подгот. Ю.И. Смирнов и В.Г. Смолицкий. Москва, 1974 (серия «Литературные памятники»).
- Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым / Подгот. А.П. Евгеньева и Б.Н. Путилов. Москва, 1977.
- Калеки переходные: Сборник стихов и исследование П. Бессонова. Москва, 1861-1864. Вып. 1-6.
- Копержинский, К.А. *Былины Восточной Сибири: Новые записи*. In: Русский фольклор: Материалы и исследования. Москва; Ленинград, 1957. Т. 2.
- Ляцкий, Е.А. – Аренский, А.С. *Сказитель И.Т. Рябинин и его былины*. In: Этнографическое обозрение. 1894. Кн. 23м № 4.
- Материалы, собранные в Архангельской губернии летом 1901 года А.В. Марковым, А.Л. Масловым и Б.А. Богословским. Москва, 1905. Вып. 1-2.
- Новгородские былины / Изд. подгот. Ю.И. Смирнов и В.Г. Смолицкий. Москва, 1978 (серия «Литературные памятники»).
- Онежские былины, записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года. Москва; Ленинград, 1949-1951. Т. 1-3.
- Онежские былины / Подбор былин и науч. ред. текстов Ю.М. Соколова; Подгот текстов к печати, примеч. и словарь В. Чичерова. Москва, 1948.
- Ончуков, Н.Е. *Печорские былины*. СПб., 1904.
- Ончуков, Н.Е. *Печорские стихи и песни*. СПб., 1908.

- Ончуков, Н.Е. *Северные сказки*. СПб., 1908.
- Песенный фольклор Мезени / Изд. подгот. Н.П. Колпокова, Б.Н. Добровольский, В.В. Митрофанова, В.В. Коргузалов. Ленинград, 1867.
- Песни, собранные П.Н. Рыбниковым. Москва, 1909-1910. Т. 1-3.
- Песни, собранные П.В. Киреевским. Москва, 1860-1864. Вып. 1-6.
- Печорские былины и песни / Записал и составил Н.П. Леонтьев. Архангельск, 1979.
- Пословицы русского народа: Сборник В. Даля. Москва, 1957.
- Русские былины новой и недавней записи из разных местностей России / Под ред. В.Ф. Миллера. Москва, 1908.
- Русские былины старой и новой записи / Под ред. Н.С. Тихонравова и В.Ф. Миллера. Москва, 1894. Отдел второй: Былины новой записи.
- Русские народные песни Карельского Поморья. Ленинград, 1971.
- Русские эпические песни Карелии/ Изд. подгот. Н.Г. Черняева. Петрозаводск, 1981.
- Сидельников, В. *Былины Сибири*. Томск, 1968.
- Сказитель Ф.А. Конашков / Подгот. текстов, вводная статья и коммент. А.М. Линевского. Петрозаводск, 1948.
- Сказки и песни Белозерского края / Записали Борис и Юрий Соколовы. Москва, 1915.
- Смирнов, Ю.И. *Эпические песни Карельского берега Белого моря по записям А.В. Маркова*. In: Русский фольклор: Историческая жизнь народной поэзии. Ленинград, 1976. Т. 16.
- Собрание разных песен М.Д. Чулкова. СПб., 1913.
- Федосова, И.А. *Избранное* / Сост., вступит. статья и коммент. К.В. Чистова; Подгот. текстов Б.Е. Чистовой и К.В. Чистова. Петрозаводск, 1981.
- Фольклор Русского Устья / Отв. Ред. С.Н. Азбелев, Н.А. Мещерский. Ленинград, 1986.

- Шайжин, Н.С. *Олонецкий фольклор: Былины*. Петрозаводск, 1906.
- Поэты XVIII в. Т. 2. Ленинград, 1958.
- Daugiabalsės lietuvių liaudies dainos. Т. 1-3. Sudarė ir paruošė Z. Slaviūnas. Vilnius, 1958-1959.
- Donelaitis, K. 1977. *Raštai*. Vilnius.
- Lietuviškos dainos, užrašytos Antano Juškos. Т. 1-3 / Paruošė A. Mockus. Vilnius, 1954.
- Lietuviškos svotbinės dainos, užrašytos Antano Juškos ir išleistos Jono Juškos. Т. 1-2 / Paruošė V. Maknys. Vilnius, 1955.
- Lietuvių liaudies dainynas. Vilnius, nuo 1980 m. 1-18
- Rėza, L. Lietuvių liaudies dainos. / Parengė V. Jurgutis, B. Kazlauskienė. Vilnius, 1958.

ИССЛЕДОВАНИЯ

- Агренева-Славянская, О.Х. 1889. *Описание русской крестьянской свадьбы*. Ч.3. Тверь.
- Аксаков, К. 1856. *Богатыри времен великого князя Владимира по русским песням*. In: Русская беседа. Т. IV.
- Аникин, А.Е. 1998. *Этимология и балто-славянское лексическое сравнение в праславянской лексикографии. (Материалы для балто-славянского словаря)*. Новосибирск.
- Астахова, А.М. – Митрофанова, В.В. 1960. *Былины и их пересказы в рукописях и изданиях XVII-XVIII веков*. In: Былины в записях и пересказах XVII-XVIII веков. Москва-Ленинград.
- Астахова, А.М. 1966. *Былины. Итоги и проблемы изучения*. Москва.
- Афанасьев, А.Н. 1957. *Поэтические воззрения славян на природу*. Москва.
- Багрий, А.В. 1912. *Древнерусское сказание о птицах*. In: Русский филологический вестник. Т. LXVII. Варшава.
- Бальмонт, К. 1991. *Избранное*. Москва.

- Буслаев, Ф.И. 1887. *Русский богатырский эпос*. In: Буслаев, Ф.И. *Народная поэзия. Исторические очерки*. СПб.
- Гильфердинг, А.Ф. 1949. *Олонецкая губерния и ее народные рапсоды*. In: Гильфердинг, А.Ф. *Онежские былины, записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года*. Т. 1. Москва, Ленинград.
- Гребенщикова, Н.С. 2004. *История русского приветствия (на восточнославянском фоне)*. Гродно.
- Григорьев, А.Д. 1905. *Предисловие*. In: *Архангельские былины и исторические песни, собранные А.Д. Григорьевым в 1899-1901 гг.* Москва.
- Григорьев, А.Д. 1906. *Общие результаты работы собирателей и исследователей русских былин*. Львов.
- Даль, В.И. 1955. *Толковый словарь живого великорусского языка*. Т. 1-4. Москва
- Зализняк, А.А. 1995. *Древненовгородский диалект*. Москва.
- Иванов, В.В. 1995. *Древнерусская грамматика XII-XIII вв.* Москва.
- Кузнецова, Н.И. 1995. *Презентизм и антикваризм как дилемма историко-научного исследования*. In: *Теория познания*. Т.4. *Познание социальной реальности*. Москва.
- Ларин, Б.А. 1959. *Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса (1618-1619 гг.)*. Ленинград.
- Лемешкин, И.В. 2002. *Лексико-лексикографические соответствия вежливый-невежа в балто-славянском словаре. К вопросу о древних лексических заимствованиях (славизмах) в балтийских языках*. In: *Beträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV)*. 5. vyd. München.
- Лемешкин, И.В. 2003. *Эпические формы в творчестве Н.А. Львова. Богатырская поэма „Добрыня“ (1794)*. In: *Четвертые майминские чтения. Забытые и второстепенные писатели пушкинской эпохи*. Псков.

- Лемешкин, И.В. 2003а. *Мотив «муж на свадьбе своей жены» в славянском песенном фольклоре. Время и пути распространения.* In: Dialog Kultur II. Hradec Králové.
- Лемешкин, И.В. 2004. *Всевидящее око Добрыни Никитича. К вопросу о генезисе эпического образа «вежливого» богатыря.* In: Motywy demonologiczne w literaturze i kulturze rosyjskiej XI-XX wieku. Lublin.
- Лопарев, Х.М. 1896. *Древнерусские сказания о птицах.* In: Памятники древней письменности. Т. СХVI. СПб.
- Матхаузерова, С. 1976. *Древнерусские теории искусства слова.* Прага.
- Михалина, А.А. 1989. *Сказание о птицах.* In: Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV-XVI в.) Часть 2. Ленинград.
- Новиков, Ю.А. 2000. *Сказитель и былинная традиция.* СПб.
- Новиков, Ю.А. 2001. *Былина и книга. Аналитический указатель зависимых от книги и фальсифицированных былинных текстов.* СПб.
- Новиков, Ю.А. 2004. *Способы выражения национальной идентичности в образах былинных богатырей.* In: Meninis tekstas. 4. Vilnius.
- Пропп, В.Я. 1999. *Русский героический эпос.* Москва.
- Скафтымов, А.П. 1924. *Поэтика и генезис былин.* Саратов.
- Славянская мифология. Энциклопедический словарь. 1995. Москва.
- Смирнов, Ю.И. 1966. *Следы эпической поэзии на Буковине.* In: Советское славяноведение. № 3. Москва
- Смирнов, Ю.И. – Смолицкий, В.Г. 1974. *Былины о Добрыне никитиче и Алеше Поповиче.* In: Добрыня Никитич и Алеша Попович. Москва.
- Смолицкий, В.Г. – Тургенега, Т.А. 1961. *Четыре произведения народной сатиры.* In: ТОДРЛ. Т. XVII. Москва, Ленинград.
- Солженицын, А.И. 1990. *Русский словарь языкового расширения,* Москва.

- Стасов, В.В. 1868. *Происхождение русских былин*. In: Вестник Европы. № 1-7.
- Тарковский, Р.Б. 2005. Басня в России XVII века. In: Тарковский, Р.Б. – Тарковская, А.Р. *Эзоп на Руси. Век XVII*. СПб.
- Толстая, С.М. 2000. *Этнолингвистика: современное состояние и перспективы*. In: Оппозиция устности/книжности в «низовой» словесности и традиции «наивной литературы». Москва.
- Топоров, В.Н. 1975. *Прусский язык. Словарь*. Москва.
- Филкова, П. 1986-1987. *Староболгаризмы и церковнославянизмы в лексике русского литературного языка*. Совфия.
- Формановская, Н.И. 1989. *Речевой этикет и культура общения*. Москва.
- Формановская, Н.И. 1998. *Коммуникативно-прагматические аспекты единиц общения*. Москва.
- Франко, И. 1897. [Рецензия на: Лопарев, 1896]. In: ЗНТШ. Вып. 6. Т. 20. Львов.
- Черных, П.Я. 1994. *Историко-этимологический словарь русского языка*. Т.1-2. Москва.
- Хроленко, Л.Т. 1992. *Семантика фольклорного слова*. Воронеж.
- Чистов, К.В. 1983. *Вариативность и поэтика фольклорного текста*. In: История, культура, фольклор и этнография славянских народов: IX Международный съезд славистов. Киев.
- Чистов, К.В. 1988. *Устная речь и проблемы фольклора*. In: История, культура, этнография и фольклор славянских народов: X Международный съезд славистов. София.
- Чистов, К.В. 2005. *Фольклор. Текст. Традиция*. Москва.
- Ягич, В. 1878. *О славянской народной поэзии*. In: Славянский ежегодник. Сборник статей по славяноведению. Киев.
- Ambrazas, S. 1993. *Daiktavardžių darybos raida. (Lietuvių kalbos veiksmažodiniai vediniai)*. Vilnius.
- Bertelsen, H. 1905-1911. *Didriks sage af Bern*. Bd 1-2. Copenhagen.

- Būga, K. 1958. *Rinktiniai raštai*, I. Vilnius.
- Fraenkel, E. 1965. *Litauisches etymologisches Wörterbuch*. Heidelberg, Göttingen.
- Gineitis, L. 1990. *Kristijonas Donelaitis ir jo epocha*. Vilnius.
- Gineitis, L. 1995. *Prūsiškasis patriotizmas ir lietuvių literatūra*. Vilnius.
- Girdenis, A. 1993. „Metų“ hegzametas. In: Darbai apie Kristijoną Donelaitį. Vilnius.
- Hoskovec, T. 2002. *Přátelský příspěvek Immanuela Kanta k litevskému slovníku*. In: Filosofický časopis. Roč. 50.
- Horálek, K. – Horálková, Z. 1958. *Moravskoslezská píseň s námětem „muž na svatbě své ženy,, (Pokus o historicko-srovnávací rozbor)*. In: Slezský sborník. Acta Silesiaca. Ročník 56 (16). Opava.
- Jablonskis, J. (Rygiškių Jonas). 1935. *Dėl Emšos klausimų abejojimų*. In: Jablonskis, J. *Raštai*. T. 4. Kaunas.
- Jovaišas, A. 1992. *Kristijonas Donelaitis*. Vilnius.
- Jovaišas, A. 2001. *Senoji Lietuvos literatūra*. Vilnius.
- Kabelka, J. 1964. *Kristijono Donelaičio raštų leksika*. Vilnius.
- Kronika Thietmara. Biblioteka tekstów historycznych. 1953. T. III. Poznań.
- Lietuvių kalbos žodinas*. Vilnius. ✓
- Liukkonen, K.A.K. 1999. *Baltisches im Finnischen*. Helsinki.
- Maciūnas, V. *J. Šulco Ezopas*. In: Archivum Philologicum. Kaunas.
- Marvan, J. 1962. *K otázkám kategorie slovesného způsobu v současné lotyštině*. In: Acta Universitatis Carolinae-Philologica. Slavica Pragensia IV. Praha.
- Marvan, J. 1967. *Par verbu izteiksmes kategoriju mūsdienu latviešu valodā*. In: Ar darba sarkanā karoga ordeni apbalvotās Pētera Stučkas Latvijas valsts universitātes zinātniskie raksti. LX sējums, 9.A laidiens. Rīgā.
- Mažiulis, V. 1997. *Prūsų kalbos etimologijos žodynas*. T. 4. Vilnius.
- Nesselmann, G.S.T. 1869. Glossar. In: Christian Donalitus: *Littauische Dichtungen nach den Königsberger Sandschriften mit metrischer*

- ehersetzang, kritischen Anmerkangen und genanem Glossar
herausgegeben von G.S.T. Nesselmann. Königsberg.*
- Ozols, A. 1961. *Latviešu tautasdziesmu valoda*. Rīgā.
- Pirmas Lietuvių kalbos žodynas. (Konstantinas Širvydas Dictionarium trium
linguarum)*. 1997. Vilnius.
- Pleváčová, H. 1957. *Záměny sloves věděti i viděti v staroslověnských textech*. In:
Slavia. R. XXVI, Seš. 2.
- Retrográdný morfematický slovník češtiny s připojenými inventérními slovníky
českých morfémů kořenových, prefixálních a sufixálních*. 1975. Praha.
- Sabaliauskas, A. 1990. *Lietuvių kalbos leksika*. Vilnius.
- Schleicher, A. 1865. Glossar. In: Christian Donaleitis: *Litauische Dichtungen*.
Erste Volständige Ausgabe mit Glossar von Aug. Schleicher. St.
Petersburg.
- Šstrijos Ragana. 1969. *Irkos tragedija*. Vilnius.
- Trost, P. 1995. *Antikizující Donalitiūs*. In: Trost, P. *Studie o jazycích a
literatuře*. Praha.
- Zinkevičius, Z. 1987. *Lietuvių kalbos istorija, II*. Vilnius.